

Александр Андрюхин

По небу женщина летела



СТИХИ

В сборник московского поэта Александра Андрюхина вошли избранные стихи, написанные за двадцать лет его поэтического творчества. Львиную долю занимают произведения о любви. Стилю автора свойственны простота, изящество, легкость, и в то же время своеобразное и по-философски глубокое осмысление бытия.

ИЗ ВЕКА В ВЕК

Из века в век под небосводом,
где верят фениксам и снам,
таланты тянутся к свободам,
бездарность тянется к чинам.

Чинам порой фартит упрямо,
свободам вечно не везет.
Судьба таланта — топать прямо,
бездарности — бежать в обход.

Несись, поэт, сквозь тьмы и версты,
где плеск волны и свет планид!
Таланты в душах копят звезды,
бездарность копит тьму обид.

Нам век могилы разгребают.
Да кто спасет и кто почтит?
Талант в ночи стихи кропает,
бездарность — кляузы строчит.

Я верю в горную победу
и в тех, которых вечно ждут.
Поэты вновь потянут в небо,
чинуши вновь потащат в суд.

Придет вселенная в движенье,
когда обрушат небосвод.
Талант уйдет в самосожженье,
бездарность — пепел соберет.

ВСЕ ТА ЖЕ ПЫЛЬ

Была весна, и пыль на тротуарах
была воздушней пуха в будуарах,
точнее — праха в каменных гробах.
И те гробы в мозгах моих с весною
не сочетались. С майской новизною
все та же пыль хрустела на зубах.

Я улыбался встречным, поперечным,
трамваям и машинам бесконечным,
вздымавшим пыль и застилавшим синь.
Я знал, что пыль — продукт метеоритов,
как жизнь в пыли — явление синклитов,
и я пылинкой был в толпе разинь.

Не возражал я, словом, против пыли:
мы тоже пыль и пылью вечно были,
дышали пылью и росли в пыли,
и в перспективе той же будем пылью
витать над новой выдуманной былью
в какой-нибудь немыслимой дали.

И что есть пыль, что быть с весенним садом?
А жизнь — есть сон (но чей?)

под вечным градом
метеоритов, что не знают сна.

Мы были прахом, станем тем же прахом,
все в пыль уйдет, окончится все крахом.
Но это мелочь. Главное — весна.

ОСОБЕННОСТИ АБСОЛЮТА

Ни абсолютной жизни нет,
ни абсолютной смерти.
Что скажешь нового, поэт,
для этой круговерти?

Что вспомнишь древнего, мудрец,
из Ветхого Завета?
Что абсолютен лишь конец?
Но вряд ли правда это.

Кто скажет, где он, наш причал,
не будучи корыстен?
Но абсолютных нет начал
и абсолютных истин.

Ни абсолютного огня.
ни абсолютных знаний,
ни абсолютного меня,
ни всех моих страданий.

Ничто не вечно под луной,
ничто не абсолютно.
Пути размыты за спиной,
и впереди все мутно.

Зачем горишь тогда, поэт,
за что, мудрец, страдаешь?
Да все за тот же горний свет,
который не познаешь.

КАПЕЛЬ

Сверкает город лужами,
как маленький Париж.
И капельки жемчужные
летят с дремучих крыш.

Раскрыв ладони дружные
мальчишки и мужи
избрали по жемчужине —
попробуй, удержи!

Не жди, родная, к ужину!
В крови кипит вино.
Держал я ту жемчужину,
но это так давно.

О как в ночи простуженной,
закинув в плед кольцо,
всё зубками жемчужными
сверкала мне в лицо.

Все вздор! С тех пор, остуженный,
не верю в лживый блеск.
Пока летит — жемчужина,
поймаешь — только всплеск.

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Ржаво пушки лежат на земле,
и никто уволочь их не хочет.
Эта крепость горела в огне,
а теперь алкаши ее мочат.

Те ворота дубасил таран,
и топтали под ними кого-то.
Каждый в праве теперь, как баран,
удивляться на эти ворота.

И осталось ржаветь якорям
и цепям отцепиться от сует.
Как тоскуют они по морям,
да по ним уж никто не тоскует.

Ты причалить сюда не моги!
Берега и круты и скалисты.
Не разрушили крепость враги,
но, пожалуй, разрушат туристы.

Штукатурка летит, словно пух,
и церквушки ветшают плечами.
Говорят, что из них вышел дух.
Кто же стонет тогда здесь ночами?

В СОЗВЕЗДИИ КЕНТАВРА

Перед явлением Христа
в созвездии Кентавра
пророк пробормотал с листа
псалом от Александра.

Сквозь сон божественных литавр,
сквозь шорох звездной ночи,
подал свой голос Александр,
потупив смиренно очи:

— Да осветится путь во мгле
всем страждущим народам!
Нас было много на Земле,
откуда был я родом.

Под той же солнечной пятой
всходило человеке.
Уж коих нет с планеты той,
да и она далече.

Где шпили башен и дворцы,
поэты где и судьи?
Ошибки делают творцы,
а искупают люди...

Обнял апостола Кентавр,
слезой смочив литавры.
Вздыхнул печально Александр,
погладил бакенбарды.

— Как говорится: сіль ву плє!
Вся соль — в насущном хлебе.
Нас было много на Земле,
теперь один я в небе.

Я вознесен, и, как музей,
пылюсь, не зная горя.
Сожрало всех моих друзей
космическое море.

О, не из той я чаши пил,
не в то ложился ложе!
Святой воскликнул Михаил:
— Да-да, я помню тоже!

Потутился. Персты сдавил.
Пригладил жидкий чубчик:
— Не стоит. Я там тоже был.
И звался я Поручик.

ЛЕРМОНТОВУ

Что на роду вам звезды начертали,
стреляться сотню или двести раз?
Но свет, который вы избичевали,
щадил ваш гений и конечно вас.

Убить сто раз могли вас на дуэли,
но был особый вам отпущен срок:
судьба крутила, вашу желчь терпели,
и был не столь жесток проклятый рок.

Вы к роковой могли привыкнуть доле,
но не могли над бездной не парить.
«Ты хочешь знать, что делал я на воле?» —
Приобретал, как все, привычку жить.

Но в брэнном мире разве сыщешь воли?
Что до привычки таять в облаках —
вопрос к душе. Она, как птица в поле,
лишь в них живет, да в пыльных дневниках.

Но Мцыри умер. Умер бедный Мцыри.
Чернила сохнут, пот струит со лба.
Что делал ваш бедняга в этом мире?
О том молчок. У всех своя судьба.

Скала. Два пистолета. Кони в мыле.
В глазах вопрос задумчивый застыл.
Спросите, что я делал в этом мире?
Ответил выстрел... грянул выстрел: «Жил!»

БЕЛЫЙ ВОРОН

Раздумья кратки
над баком хлорным.
Зовется черным
наш двор растлелый.
На черной грядке,
под черной тучей
я невезучий —
я ворон белый.

Ткнуть пальцем всякий
считает долгом
и с «чувством с толком»
подсыпать соли.
Снуют собаки
и лают: «Вот он!»
Я белый ворон —
бельмо на поле.

И сторож быстрый
отбросит клюшку,
и я на мушке
маячу первый.
Вспорхнет на выстрел
воронья свора.
«Постой, не вор я —
я ворон белый».

Я бедствий крестник!
Но знаю твердо:
мудра природа
и нет в ней яда,

и белых если
она рождает,
никто не знает,
что ей так надо.

Быть может, будет
и чернь задворков
белей осколков
когда-то, где-то.
И жизнь отсудит
другой вороне
на этом фоне
в другое лето.

ОПЯТЬ С НУЛЯ

На градуснике ноль, а это значит
ни то ни се, ни лето, ни зима:
как будто быт земной еще не зачат,
как будто жизнь не начата сама.

Как будто вновь она в своем раздумье,
куда же дальше, в сторону тепла
или морозов двигать мир безумья,
творившего нетление из тла?

Ноль — ничего. Никто смертельным жалом
не жалит. Ноль — ни буква, ни число —
лишь черточка слияния с началом
конца, где под пятой добро и зло.

А жизни нет пока. Но к обновленью
стремленье есть из начатого дня.
Завидую вселенскому терпенью
природы начинать опять с нуля.

Опять с нуля! Хотя уже не молод —
не сожалеть, не быть, не обладать,
чередовать упрямо зной и холод,
уравновесить, вновь чередовать

добро и зло, творенье, разрушенье,
то истлевая, то вмерзая в лед...
И эта круговерть нам представленье
о тайнах бесконечности дает.

КОЛУМБ

Седьмую неделю душа на пределе,
да ширь океана, да свисты в ушах.
Еще я не канул, легко мне и вольно —
блуждаю меж волн я, как бродят впотьмах.

Моя королева, моя каравелла
не жаждет покоя, врезаясь в волну!
Не жаль за спиною мне Старого света,
похожего цветом скорее на тьму.

Все эти недели фок-мачты скрипели.
Я — рыцарь распутья. Пусты мои сны.
Могу я поклясться: плыву не за счастьем —
ищу новый путь я из этой из тьмы.

Моя королева, матрос мой, Марчелло,
кричал обалдело, надравшись весьма:
— Ни Нового нету, ни Старого света —
один только свет и одна только тьма.

Свалился он с мачты, матрос мой. Не плачьте!
Их доля жестока, мыслителей слуг.
А если и вправду Земля круглобока,
то путь мой без Бога — как замкнутый круг.

А если и вправду Земля без окраин —
мой путь нескончаем, и мрак мой нелеп.
Найдем по приметам дорогу мы к свету,
лишь мир бы от света потом не ослеп.

В СКАФАНДРЕ

Я облачен, как динозавр,
в тяжелый, кованный скафандр
и погружаюсь в воду.
Сжимает шею и бока,
но мне достаточно пока
в скафандре кислороде.

Темнеет. Быть большой беде.
На судне спят, как псы в суде.
Зевает кэп элитный.
То явный признак и намек
на полдник. Кэпу невдомек,
какой я беззащитный.

У кэпа в голове одно:
«Познавши высь, познай и дно,
тогда и суть познаешь».
А я веселый, как Менандр,
ругаю собственный скафандр,
но глух и нем товарищ.

Вживаюсь с кровью в глубину,
как Вертер в слезную луну, —
судьбу не выбирают!
Но сводит нервно мышцы скул,
когда клыки больших акул
невинных раздирают.

И трудно кулаков не сжать,
и невозможно удержать
себя в глухом скафандре.

И в пальцах кровь зудит вожжой,
но океан такой чужой,
как Троя при Кассандре.

Вонзив в акулье брюхо нож,
я пропаду здесь ни за грош,
земной, нездешний родом.
Акулы кинутся ва-банк,
и крабы перережут шланг
с проклятым кислородом.

Потом на палубу струной
положат то, что было мной,
псалмы прочтут верлибром.
И тело хрупкое мое,
размытое, как мумие,
закинут в море рыбам.

И скажет кэп свои слова:
«Слабы нервишки, господа!
Куда нам со слюнями?
Беда на всех у нас одна.
Блаженны те, кто твердость дна
нащупает ступнями!»

ЗА ШТУРВАЛОМ

Третий час. Старпом, как сыч —
пьян, и нос картошкой.
Сон-река, буксиров клич,
звездная дорожка.

Моториста храп в ночи,
в рации шипенье.
Отмерцали толкачи,
вспыхнув на мгновенье.

Рулевой не сводит глаз
с пассажирки Вали.
Звезды в небе, а у нас
блики на штурвале.

Всюду свет (печаль гони!),
всюду жизнь искрится:
там, на бакенах, огни —
отблески на лицах.

Эту ночь Платон латал —
мирозданья отпрыск:
«Жизнь, должно быть, где-то там,
наша — только отблеск».

Смотрят звезды из реки —
звездное вожденье.
Если светят маяки,
будет отраженье.

Что там плещется? Не тронь!
Друг, ты слышишь отплеск?
Веришь ли ты в свой огонь,
а не в чей-то отблеск?

Третий час. Ни дум, ни дам.
Тьма. И ни словечка.
Шпарит омик по волнам,
как по Млечной речке.

МАТРОС

Был волком, теперь оббивает причал,
где цепи, как лавры.
«Отдайте концы! — кто-то в рубке кричал. —
Концы, а не швабры!»

Когда-то на сейнер прислали юнца,
и палубу драя,
он думал, не будет путине конца
и гиблого края.

Окончил путину, вернулся домой —
ни славы, ни денег.
Просолен, прокурен, обвенчан с волной,
да списан на берег.

С чем жизнь провожать? Сплошь и рядом вода —
сквозь пальцы проходит.
Уходят в открытое море суда —
все в мире уходит.

Приходит лишь он посмотреть на улов
в рыбацкой печали.
И даже когда никаких сейнеров —
стоит на причале.

Стоит молчаливо, устав проклинать
и море, и сушу.
Всего лишь концы попросили отдать,
концы, а не душу.

БРОДЯГА

Я бродяга, простуженный в доску,
нараспашку душа, хоть расстреливай,
в сердце вечная стужа Карелии...
«Эй, земляк, угости папироской!».

На квартире все те же симптомы —
до весны б дотянуть, человеки.
Трое суток на «скором» до дома,
три минуты пешком до аптеки.

Дай, аптекарша, мне «ностальгина»,
аспирин не уцепится за душу!
Помню, звали ее Ангелина,
да наверно, давно уже замужем.

Дай, аптекарша, в каплях истому!
Дом на слом мой пустили и баньку.
Без меня схоронили маманьку —
не тоскуется чтой-то по дому.

Отстучать трое суток бы с миром,
да боюсь, не узнав, поколотят —
моя морда черна от чифира,
и прохожие рыла воротят.

Разве я не такой же трудяга?
Что ж проулком хожу неуклюже?
Разве вор я? Всего-то бродяга,
и к тому же смертельно простужен.

Я по тундре мотался с эвенком,
бил я с хантами рябчиков слету
и по мизерным самым расценкам
дни и ночи плутал по болоту.

Комары и мошка меня жрали,
бил буран меня в скулы с размаху.
Да бродяга я! Если б вы знали,
как играл на гитаре я Баха.

Кореша мои плакали брагой,
и рекли: «Кто обидит — придушим!»
Видно, Бах был таким же бродягой,
если так перевертывал души.

Жаль, пуста закадычная фляга,
жаль, давно не скликают на ужин,
не жалею, что стал я бродягой,
но жалею, что очень простужен.

Дай, аптекарша, мне «ностальгина»,
дай, мне слезную в каплях истому!
Помню, звали ее Ангелина,
да не помню дороги я к дому.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Сизый сумрак. В тайге тишина.
В речке рыба играет.
И на кляксу похожа луна,
и костер догорает.

Мой дружище, писать не могу.
В эту жизнь, ты же знаешь,
если просто не впишешь строку,
значит кляксу поставишь.

Не кропаю я в рифму давно,
не мурлычу в миноре.
Будет свет, если будет тепло,
и прозренья от боли.

Будет устье, коль найден исток,
через сто новолуний.
Я болею стихами, как Блок,
и тоскую, как Бунин.

Снова тропы и топи зовут —
у преддверья кукую.
Не бывает свободы без пут,
так чего же тоскую?

Верю в чудо и в добрую весть,
верю звездам и листьям.
Может, светлые ночи и есть
чьи-то светлые мысли?

ПРОЩАНИЕ С ЮГАНЬЮ

Сиротеет в небесах,
листья падают в глазах.
По таежной по речонке
мы плывем в худой лодчонке —
котелки впились в печенки,
и хвоинки в волосах.

До свидания, Югань!
Утопил топор я... Дрянью...
Завтра «скорый» на Мытищи
увезет тебя, дружище.
Лайка бьет хвостом о днище,
и в кустах застыла лань.

От моторки сто колец.
лету нашему конец.
Глухари! Серега, вмажу!
Заряжай, авось помажу!
Трах-таррах! (Какая лажа)
Так и знал. Живи, наглец!

Вспомнишь, дикая река,
где коренья, как рога,
перестук и передряги,
где плутали, как бродяги,
спотыкаясь о коряги,
два веселых дурака.

СКАЛОЛАЗ

Эй, послушай, на скальное диво,
ты прекрасно и этим, и тем,
виртуозно ты лезешь, красиво,
только мне непонятно, зачем?

Доберешься до снежной плешины
весь в поту и в бреду, и ни с чем,
прокричишь: «Я почти у вершины!»
Только мне непонятно, зачем?

Ты вернешься и будешь свободным
от вершин, рюкзаков, но опять
затоскуешь по скалам холодным.
Почему? И тебе не понять.

РАЛЛИ

Мы вдвоем среди скал —
на пределе педали.
То обвал, то завал —
сумасшедшее ралли.

Я не знаю, что там,
под моими ногами.
Мой соперник упрям,
только я поупрямей.

За скалой гололед,
сыпь и трещины... К черту!
Если он тормознет,
рассмеюсь ему в морду!

Ибо верю в свой час,
ибо слышу свой голос.
Жму упрямо на газ,
хоть разумней — на тормоз.

Я признаться смогу
(не сочтите за робость):
и понять дураку,
что летим оба в пропасть.

Он обходит. Не дам!
Посмотрите же сами,
как соперник упрям.
Только я поупрямей!

ЛЮБИ ВРАГОВ

Люби врагов, как любит солнце луг,
как любит ложь сценическую зритель!
Ведь каждый враг, он в перспективе друг,
ведь твой гонитель — главный твой учитель.
Кто так учил? Не помню. Но свой век
я желчь врагов вбирал, как пыль коллектор.
И каждый Чук был в перспективе Гек,
и каждый Гек, должно быть, в прошлом — Гектор.
Люби врагов, как тумаки — Пьеро,
как грезы рыцарь, как чулок монета.
Добро, оно и в Африке добро,
а зло, оно для распознанья света.
Все к одному сведется — к кулаку —
за дружески протянутую руку.
Но то, что я, шутя, прощал врагу,
то не прощал уже вовеки другу.
Чем дальше в жизнь, тем больше их, врагов,
как дров, чем дальше в лес. Но в перспективе
был каждый Аракчеев — Огарев,
и каждый Лорка — в прошлом Муссолини.
Что до познания и вкушения зла —
кто как не враг твой кровный им снедаем?
Он нахлебаться прежде даст сполна,
чтоб ты в грядущем стал непотопляем.
Люби врагов без зависти, без мук,
в веселье, в грусти, в трансе, в коллективе!
Ведь каждый враг, он в перспективе друг,
но друг мой верный, кто он в перспективе?

ЗА ГЕРКУЛЕСОВЫМИ СТОЛПАМИ

Ветры, ветры, что вы, ветры,
над Полярным вьетесь кругом?
Ледяные гладит гетры
Роберт Пири, злой упрямец.
Он на полюсе быть первым
хочет, дух сломив недугом.
Ветры в танце кружат нервном,
льдов разглаживая глянец.

Ветры, ветры, сколько, ветры,
злобно будете метаться,
проклинать земные недра,
разжигать тревогу в муках?
Кто ведь только не пытался
до оси земной добраться.
И на кой им, смертным, сдался
этот край во льдах и вьюгах?

Но когда-то под закатом
здесь разгуливали Боги,
и врата сверкали златом,
что вели в чертог небесный.
Только смертные ногами
истоптали Божьи тоги.
Чтобы вровень встать с Богами
нужно ад пройти телесный.

Вот зачем теперь здесь ветры
превращают ноги в гири,
сантиметры — в километры,
и свистят, и льдины лачат.

Только зря к своим Минервам
ты стремишься, Роберт Пири, —
у земной оси быть первым
ничего еще не значит.

Ничего еще не значит
в лед вгрызаться, замерзая,
скрежетать зубами, клячей
воз тащить не очень пылко.
Да поймешь ли, Роберт Пири,
в ось земную флаг вонзая,
что быть первым в этом мире,
в мире горнем — лишь ухмылка.

О СМЫСЛЕ

Туча свинцом нависла,
словно дурная весть.
Нет в нашей жизни смысла,
но вера в правду есть.
В прошлое позовете,
что нелогично — бред.
Смысла там не найдете.
Правды там тоже нет.

Сколько же коромыслом
стало спин от плетей?
Думаю, не для смысла —
ради пустых идей.
В будущем, я не скрою,
тьмой парадоксов сбит.
Кажется мне порою:
мы — тупиковый вид.

Истина — относительна,
споры — пустой обряд.
Дети лишь вопросительно
с верой в глаза глядят.
Лжем без стыда и меры
чистым глазам в ответ.
Вот она, в правду вера.
Вот уж где смысла нет.

ВО ТЬМЕ ЭПОХ

Во тьме эпох, в преддверьи века,
среди нетленья и могил,
не просмотрите человека,
когда и где бы он ни гнил!

В глуши скитаясь, как Сенека,
с холма взирая, как Нейрон,
не просмотрите человека,
упав на дно, взойдя на трон!

И в полубезьяньем стаде,
и в стае волчьей — неземной,
не просмотрите, Бога ради,
и не пройдите стороной!

Свихнувшись на лучах и треках,
в тиши компьютерных систем,
замолвите о человеках
словечко и умрите с тем!

И восхищаясь Нефертити
и обаянием камней,
живой души не просмотрите,
как и себя, пожалуй, в ней!

ПОКИНУТЫЙ ГОРОД

Но город, что покинут был людьми,
вдруг начинает мигом разрушаться.
Какая нечисть прилетает шляться
между домов пустых, звеня костьми?

Ведь с той минуты не пройдет и дня,
чтоб трещина не врезалась в колонну,
иль с грохотом на землю весом с тонну
не рухнула столетняя лепня.

А следом камень, мрамор и гранит
ветшают, превращаясь постепенно
в песок и пыль. И сорная мгновенно
растительность теснит громады плит.

И в воздухе нет времени, и в днях
уже царит могильная усталость.
Да разве же на сваях жизнь держалась,
да разве в глине дело и камнях?

Когда покинут город, о летах
уж не ведется речи из разрухи.
На человечьем держится все духе,
и не в слонах тут дело и китах.

КОГДА ВЕСЬ МИР ДЫРА

Когда вся жизнь игра,
люблю для Мельпомены
перебирать фонемы
и рифмы в них вплетать.
Когда весь мир дыра,
чем плохо в вечер некий
для строгости элегий
чуть о себе приврать?

Слезу пустить в рукав,
смешать мазки и краски,
надумать сны и ласки,
слепцам глаза открыть.
Пожалуй, я лукав,
но я лукав не злобно.
Когда на сердце постно,
о том пытаюсь скрыть.

Я не люблю, к стыду,
трепать себя на бирже,
но от пустейшей вирши
щека всегда влажна.
В дворце ли, во саду
влюблюсь в какую нимфу?
Мне искренность под рифму
не столь уж и важна.

Беда ли, не беда,
война, чума, потрава,
победа, трубы, слава,
тюрьма, гранд-опера —

играйте, господа,
легко и грациозно!
Все в мире несерьезно,
ведь жизнь — она игра.

Так и умру, свой пыл
загнав в свои же сети,
и не узнают в свете
ни гений, ни герой,
что я не тот, кто был
под солнцем и под тучей,
что ни одно созвучье
я не считал игрой.

ИЗ БИБЛИИ

Устав от «христаради»
и вземных начал,
всю жизнь бредущий к правде,
я правду повстречал.
Она, как тень Фемиды,
бродила, ворожа.
У лжи глаза открыты,
на правде — паранжа.
Я рвал мирские сети,
я не хмелел с вина,
я верил, есть на свете
прекрасная она.
Теперь почти сгоревший
на правду я гляжу.
Но ветер, налетевший,
откинул паранджу.
Устав от «христаради»,
не веря в свой финал,
всю жизнь бредущий к правде,
я правды не узнал:
костлява и прыцава,
с ужимками зверька.
Я знал, что ложь слацава,
а истина горька.
Но что скажу, вернувшись,
тем людям у реки?
И правда, усмехнувшись,
ответила: «Солги!»

И ЛОЖЬ-ТО, НЕ ЛОЖЬ

Анжелике Нисан

Давно мне чужая не снится страна,
где солнце — не солнце, луна — не луна.
Погибла, должно быть, она ни за грош:
что верно, то верно. А может, все ложь.

В ней стужа — не стужа, костры — не костры,
я в образе зверя, ломая кусты,
куда-то бежал весь в песке и ветрах,
и кутал туман, и опутывал страх.

И ливень хлестал по садам и лесам,
и взгляд свой звериный я слал к небесам,
но взгляд небеса отсекали мой прочь,
и день был не день там, и ночь-то — не ночь.

Там жухла листва и чернела трава.
От звона шального моя голова
была тяжелей и больней во сто крат,
и что он так бил, колокольный набат?

Когда просыпался, вокруг тишина
вином разливалась. В мои письма
роняли созвездья рассеянный свет,
и шумно вздыхал я: «Скорей бы рассвет».

Скорей бы рассвет. И в своем полусне
я чувствовал, время, пожалуй, к весне:
капель и кустов полуночная дрожь.
И правда — не правда, и ложь-то — не ложь.

ВЛЮБЛЕННЫЕ

Бродят по городу двое влюбленных,
двое бездомных отвергнутых маются.
Только безмолвье аллей заметенных,
только хвоинки за шапку цепляются.

Город в привычном и строгом убранстве,
парки пусты, фонари отлукавили.
В самом безжизненном, снежном пространстве
только те двое следы и оставили.

О незабвенная сеть таксофонья —
место влюбленных, продрогших от холода.
Дома уютней, но там безлюбовье,
лучше бродить по промозглому городу.

Этот квартал проектировал шулер,
если влюбленным не видно пристанища.
Мгла пробетонена. Правда ли, Шиллер, —
путь без любви, все равно что на кладбище?

Снежное склепище в землю вмерзает,
трубы стальные от стужи сутулятся,
жизнь замирает, дворы замедает,
только влюбленные бродят по улицам.

НОЧНЫЕ ОГНИ

На далекие глядя огни
и тасуя ушедшие дни,
понимаю, что смертных нас точит:
пребывая в грязи и крови,
человечество ищет любви,
ибо только любви оно хочет.

И стремится, и рвется лишь к ней:
пьет вино, становясь не пьяней,
жжет и лжет, становясь не счастливей,
убивает во имя богатств,
губит мир ради призрачных царств,
превращая небесное в иней.

Уж геройство не в радость ему
и полеты на Марс и Луну,
и прозренья на миг под иконой.
Лишь любви оно жаждет, любви.
В людях зло (такова се ля ви),
стало быть, от отсутствия оной.

На заволжские глядя огни,
все шепчу я: «Господь, не гони
тех порывов, что в муках рождались».
К свету тянутся дети твои
и нуждаются только в любви,
в остальном — никогда не нуждались.

О ДЕВЕ И РОЗЕ

Андрею Вознесенскому

В железный наш век, что звенит, как подкова,
где дух догнивает в джинсе и вискозе,
о деве и розе замолвите слово,
замолвите слово о деве и розе.

О духа прорабы! О люди, что толку
мы к звездам взирали? Нам звезды молчали.
И деву прогресс деформировал в «телку»,
а розу — в эмблему всеобщей печали.

В наш век пребывания не в духе, а в позе,
где свора со сворой в типической сваре,
замолвите слово о деве и розе,
как некогда некто о бедном гусаре.

Но Бог с ним, с гусаром! Тем более — с бедным.
Куда мы без девы, без розы куда мы?
На лике у века от холода бледном
блуждает безмолвье и ползают гаммы.

УНОСИТ РЕКА

Прогудел теплоход у причала прощально.
Моросит. И простудой разит от песка.
По-швейцарски уныло, по-шведски печально,
по-отечески в горло вцепилась тоска.

Отступает волна, подступает досада,
наплывут вечера, уплывут облака.
По-французски — увы, по-ирландски — так надо,
а по-нашему проще — уносит река.

Шелестенье уходит, приходит несмелость.
Если в небо потянет — воззрим к образам.
Хоть туман по-британски выпячивал челюсть,
но по-русски платок подносили к глазам.

ЛЮБОВЬ

Так грустно ты махала из окна,
что я забыл себя и вспомнил Шелли,
подумав в ту минуту, неужели
померкнут нынче солнце и луна?

И мы с тобой расстанемся, и звать
забудем как друг друга мимолетом,
и снова по мирам чужим и тропам
начнем с печалью лунною плутать.

Так целый день печальный видя взгляд,
я чувствовал, как сердце холодело,
и не было с утра важнее дела,
чем на такси лететь к тебе назад.

И проклинать умы, чьих мыслей нить
сводилась лишь к бытийности надменной.
А смысл один, пожалуй, во вселенной:
среди хаоса друг друга находить.

Из сотен тысяч жизней, что прожил,
всего в одной усвоил, как Петрарка:
что не имеешь — потерять не жалко,
но растеряешь все, чем дорожил.

Я ЖДАЛ ТЕБЯ

Я ждал тебя к обеду, дорогая,
сварганил суп, поставил чайник на
плиту, как фишку на кон, полагая,
что в дом дорога уж не столь длинна.

Я подходил к окну, как Марс к Венере,
впивался в двор, но двор давал отлуп.
И закипала кровь внутри по мере
того, как остывал в кастрюле суп.

И хлеб черствел, и сливы в блюде кисли,
и в вазе гнулись бледные цветы,
и кисло я ловил себя на мысли,
что мне не все равно, где бродишь ты.

Был двор уныл и сир от серых зданий,
пуст тротуар, и думалось мне, что
жизнь состоит из ссор и ожиданий,
и порванных бумажек спортлото.

Я брал газету, мельком пробегая
по новостям в замыленных тонах.
А мы живем так скучно, дорогая,
среди кастрюль и люстр в немых стенах.

Я порывался выйти троекратно,
влезал в кроссовки, трепеща, как флаг.
Имел бы фрак французский, вероятно,
напялил, дорогая, бы и фрак.

Любовь ли это, дьявол ли возводит
в червонец, насмехаясь, медный грош?
Бегут минуты, дни, и жизнь уходит,
как борщ с плиты, а ты все не идешь.

И вот опять на Бога возлагая
свои надежды и теряя стыд,
я жду тебя, как прежде, дорогая!
Что не спешишь? Да Бог тебя простит.

ПТИЧКА В СИЛКАХ

Послушай, где ты обитаешь
в мгновения подлунных смут,
когда последний атрибут
своей одежды позволяешь
с тебя сорвать за пять минут?

Когда хмельней тевтонской браги
ладони шарят по углам,
открыв твои архипелаги,
и губы тянутся к губам,
как некое перо к бумаге?

Когда уже кружат рулеткой
мозги и плед шуршит кокеткой,
как дама платьями в Крыму,
когда магнитит каждой клеткой
удушье к телу твоему?

Когда я наглый и вальяжный
пьянею от чудесных ног
и вот, сорвав в тиши цветок,
вдруг ощущаю — он бумажный.

Я становлюсь более мела.
«В чем дело, милая, в чем дело? —
душа в ночи вопит, хрипя, —
В чем дело, милая, в чем дело?
Опять в руках держал я тело,
в котором не было тебя!»

Послушай, может, ты играешь,
когда теряюсь при луне,
когда в руках снежинкой таешь...
Послушай, где ты обитаешь?
Послушай, вспомни обо мне!

Очнись! Я тут, впотьмах горилльих,
при муках сладостных в висках.
Куда уносишься на крыльях,
когда мой пульс в твоих святынях,
как птичка райская в силках?

ПОЗОВИ МЕНЯ, ДАЛЬ

Тут пенаты мои и пристанище,
и почти неземная печаль.
Как мне быть, дорогие товарищи,
если больше не манит уж даль?

Не для той были розы оборваны,
и не те я законы вершил.
Мои сердце и горло надорваны:
жить спешил я, да скуку нажил.

Позови меня, даль, в свои чистые
ковыли на просторах любви!
Двое ярче там звезды лучистые,
втрое звонче в лесах соловьи.

Где такое (не знаю, что именно),
только ты все равно позови!
Мне не будет священнее имени,
что услышу в той смутной дали.

Позови меня хоть на распятие,
на бродяжье, на штормы в морях!
Девке брось сумасшедшей в объятия
в тех веселых, роскошных краях!

Видишь, в сердце одна канительная
суета без надежд и идей?
Нет любви, говорят — есть постельная
форма жизни в укладе людей.

Счастья нет, говорят, есть диванное
увядание в теплых стенах.
Нет пространства в звездах, есть пространное
измышление в книжных томах.

Где вы лекари душ и провизоры,
изгонявшие хворь из груди?
Умертвили здесь все телевизоры,
напрудив пустоту впереди.

Не судите же, други-товарищи,
если сгину навеки в дали.
Тут пенаты мои и пристанище.
А быть может, они не мои.

ПО СЛЕДАМ ПЕСНИ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Я покинул дом, в котором душно,
я ушел под дождь, который лупит,
чтоб найти на улице бездушной
ту, которая душа возлюбит.

Эй, водитель, лжет твоя кривая!
Рельсы холодны и мысли тупят.
Не возил ли ты в своем трамвае
ту, которую душа возлюбит?

Каждый пятый мается без дела,
каждый встречный сук соседу рубит,
каждая красотка любит телом —
где, которая душой возлюбит?

Вы, мадам, глядящая из «форда»,
вспомните рассоренное в барах!
Эй, пожарник... да какого черта,
если в душах нет давно пожаров?

Я протопал пляжи Волги, Камы —
залежи грудищ, ножищ и талищ.
Эй, товарищ, не встречал ли дамы?
Впрочем, брат, какой ты мне товарищ?

И молчат слоны и лают моськи,
пьют низы, верха планету трупят.
Не видали ль, братцы, сквозь авоськи
ту, которую душа возлюбит?

Ночь спустилась для исповедальни,
зажигают свет, и бьют баклуши.
Леди ждут, пускающие в спальни —
где она, пускающая в душу?

Буду ночь искать свою голубу,
будут знать в лицо меня бульвары,
но менты втолкнут в УАЗик грубо,
вывернув и руки, и карманы.

Где она, которой вечно внемлю
в небесах, в морях, на грешной суше?
Я пришел из тьмы на эту Землю,
чтоб найти потерянную душу.

МАРТ

На стекле тебя рисую.
Ночь, прохлада, март.
Тихо дни свои тасую,
как колоду карт.

На стене молчит гитара.
Каплет на карниз.
Месяц желтый, словно фара,
грустно смотрит вниз.

Жду тебя. Грущу, тоскую —
не хочу пропасть.
Снова дни свои тасую,
но опять не в масть.

Где ты бродишь, божья львица,
в оголтелый март?
Я твой самый верный рыцарь
и твой вечный бард.

Дни здесь тащатся, как годы,
тикают часы.
Верно, кто-то из колоды
выкрал все тузы.

На стене молчит гитара
и допит бокал.
Про тебя знакомый «ара»
что-то намекал.

Я обмяк, как след от лыжи,
я пушусь в бега.
Знаешь, с детства ненавижу
шлепать «в дурака».

Из кофейного гаданья,
по созвездью карт
ты — апрельское создание,
а в окошке — март.

ОЖИДАНИЕ

Ночь. И мобильник молчит.
Звезды полощутся в луже.
Город уснул, лишь не спит
женщина, ждущая мужа.
Кошка катает клубок,
в блюде не тронута вишня,
тапочки смотрят в порог,
только прохожих не слышно.
Смотрят глаза в никуда,
в сердце тревога от колик.
Колики разве беда? —
Явится скоро соколик!
Ввалится, что-то соврет,
взгляд отведет глуповато.
Женщина это поймет,
хоть понимать и чревато.
Вот уж и сказке конец,
вот уж унынием веет.
Женщина скажет: «Подлец!».
Только сама не поверит.
Ахнет с далеких концов
истиной неразглашенной:
нет их, мужей подлецов, —
есть нелюбимые жены.
Что в нелюбви той грядет?
Чем там неведомым стелет?
Женщина плачет и ждет
и в нелюбимых не верит.

ЖЕНЩИНА

Как-то в день бесконечно дождливый
собралась она в край голубиный:

— Ненавижу себя нелюбимой,
презираю себя несчастливой.

На вокзал без плаща и без денег
прибежала наивнее лани.

Дома муж за газетой и телик,
таз посуды, белья две лохани.

Впопыхах у кассирши глумливой
попросила плацкарт до Парижа.

— Ненавижу себя нелюбимой,
но, любимый, тебя я не вижу.

У багажного, смерти бледнее,
прошептала она:

— Будь, что будет...

Возлюбимы мадонны и феи,
а кто вьючную лошадь возлюбит?

Мчался поезд, дождями лупимый,
унося ее в сумрак стыдливый.

— Ненавижу себя нелюбимой,
презираю себя несчастливой.

СНЕГОПАД

Когда так сыплет, даже в чудо
поверишь вдруг и в прочий вздор.
Куда-то вел из ниоткуда
троллейбус заспанный шофер.

Куда? Зачем? Полнейший ребус.
Когда так сыплет, свет не мил.
Но женщина вошла в троллейбус,
мужчина место уступил.

В его глазах давно ненастно,
в ее лице нездешний свет.
Он улыбнулся очень ясно,
она поправила берет.

«Кто вы в малиновом берете?» —
спросил он мысленно не в лад.
Она забыла о билете,
когда почувствовала взгляд.

«Вот наконец-то вас я встретил!» —
мужчина выдохнул в лицо.
У ней рубин на пальце светел,
и у него блестит кольцо.

Но чувствам требуется малость,
чтоб замер дух у пояска.
В его глазах была усталость,
в ее глазах была тоска.

А за окном пейзажи плыли,
но взгляд шептал его, пленя:
«Что не расскажите, как жили
все это время без меня?»

«Жила... — ответила безмолвно. —
Жила-была, тебя ждала...
И было блекло, безлюбовно.
Плохие, в общем-то, дела».

Вздыхнул мужчина осторожно,
смутилась женщина слегка.
Когда так сыплет, невозможно
увидеть высь сквозь облака.

Когда так сыплет, жизни мало,
что, в общем-то, не удалась.
— Вы не выходите? — сказала
она и с места поднялась.

Сказав, потупилась, запнулась.
Чудес не любят на Земле.
Сошла, пошла, не оглянулась,
чтоб сгинуть в снежной этой мгле.

Чтоб жизнь просеять через сито
и распылить, как этот снег.
Троллейбус тронулся сердито.
Куда? Зачем? Не знать вовек.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Струился дождь, свеча горела,
хоть в доме свет не отключали.
И горько девочка ревела
в тиши полуночной печали.

Она псалом читала новый
в слезах: «Ну где же ты, проклятый,
такой небритый и неклевый,
развратный, лживый и женатый?»

Приди, возьми в свои объятия,
как первый «Колокол» свой Герцен.
Почувствуй сквозь запреты платья,
как птицей замирает сердце!

(В томленьях грусти безнадежной
в висках постукивал будильник,
и дождь стучал не очень нежный,
и грубо булькал холодильник)

Приди — сорви рывком сорочку,
как покрывало с жизни блеклой!
Возьми, как есть, или в рассрочку,
и брось под дождь, а лучше — в пекло!

Приди к своей овечке гадкой
побитым, пьяным, безобразным —
приму, прощу... Дворовой шавкой
швырну себя к подошвам грязным...»

Но тщетно. Время катит бричкой.
И детство — мотыльком над свечкой.
Он пересытился клубничкой.
Он не придет к своей овечке.

Струился дождь, свеча горела
одна единственная в мире.
И горько девочка ревела
в холодной и пустой квартире.

АНГЕЛ

Било полночь на заоблачных часах,
стыли звезды, плакал ангел в небесах.
Плакал ангел, и мертвел его чертог,
дождь хлестал, кипели лужи, тополь мок.

Тополь мок. В чертоге выцвела свеча,
только та, по ком он плакал, хохоча,
поднимала разбитной с вином бокал,
и колючий взор огонь ее алкал.

И колючий пьяный тот закрыл окно,
и зашторил, и опять налил вино.
И зашторил мрак полнеба на Земле,
и последний луч увяз в свинцовой мгле.

Плакал ангел и слезами хоронил
ту, которую любил он и хранил.
Не подняться, не родиться больше ей.
Луч погас. В чертоге кончился елей.

Луч погас. Не скоро здесь начнет светать.
Слезы выплаканы. Нужно улетать.
Слезы выплаканы. С крыл бежит вода.
Улетать... Не возвращаться никогда...

НА СТУПЕНЯХ

Когда на даче с пьяной злостью
приятель стих лепил к ушам,
увел я ветреную гостью
бродить по сонным этажам.
Поскольку сторож запер двери
и черный ход не выдал «плис»,
я до рассвета, как Тиберий,
ходил за нею вверх и вниз.
И ночь насчитывала пени
друзьям, что спохватились нас.
Ступени вверх и вниз ступени,
как будто с нимфой на Парнас.
Не оступиться б, как разиня,
не полететь бы вниз, звеня.
О Боже, как она дразнила
фигуркой тоненькой меня.
Читая в бурях ей и в нордах
стихи, я думал, как Тролье,
какие чары в этих бедрах,
какие тайны под колье.
С такою хоть в огонь, хоть в Лету,
хоть в пропасть в неродном краю.
Но чутко, будто сигарету,
она тушила страсть мою.
И звезды сыпались попарно,
и думал я с тоской, что вот
уходит ночь опять бездарно,
а следом жизнь за ней уйдет.
На это мысли, как незрячий,
рассвет разбрызгал бездну стрел.

И поцелуй, такой телячий,
разлуки миг запечатлел.
Да, так всегда — к едрене фене
мотать в деревню, в глушь... в Томис!
Вся жизнь — дурацкие ступени
то вверх за женщиной, то вниз.
И мчался поезд, и на темя
давила грусть, и в полусне
не ведал я, что в это время
она письмо строчила мне.
В вагоне скука, в небе тучи,
мир под Зевесовой пятой.
Она писала мне, что лучше
не знала в жизни ночи той.
Но я в зевоте, как издатель,
ночные страсти все топил.
Лишь через год меня приятель
ее письмом ошеломил.
Мы в покер резались беспечно
под майский уличный галдеж.
Так и живешь, не зная вечно,
где потеряешь, где найдешь.

ПОПУТЧИЦА

Пронзая тьму, как воздух стриж,
летит ночной экспресс.
Сижу, не сплю. И ты не спишь
с тоской наперевес.

Купе трясет, как Навои,
и мысли, как цеце,
кусают. Гнутся шпалы. И
мелькают на лице

столбы, разъезды, вновь столбы,
перронов хохлома,
огни, дома, поля, клубы
снегов... И снова тьма.

И снова тьма. Вокруг ни зги.
В тумане Млечный плес.
Душа светла, пусты мозги
под дробный стук колес.

Вперед уносятся года,
а жизнь летит назад.
Стучат колеса. Иногда
твой быстрый вижу взгляд.

Он шоколадней эскимо
и мутный, как слеза.
И если тушь стереть, то можно
разглядеть глаза.

А если платье расстегнуть
у шейки, как вампир,
то можно в душу заглянуть,
как в новый Божий мир.

Запрет висит, как сталактит,
над теменем. Стрелой
ночной экспресс во мглу летит,
как в бездну шар земной.

Столбы, разъезды, тьма, вокзал,
полночное «ду-ду».
Да где же это я читал?
Ах, вспомнил! На роду.

Я пребывал в чужих томах
тогда, а ты краля
мои стихи на тех холмах,
когда спускалась мгла.

Напой, красавица, напой
о том нездешнем дне.
Мы где-то виделись с тобой —
нет-нет, не на Земле!

Впотьмах блуждая, как слепой,
я ждал твоих вестей.
Все было именно с тобой,
но без условностей.

Твой трогательно вьется ло-
кон, будто Божий знак.

Путь к Господу, он одиночек,
с попутчиком — во мрак.

Я здесь всё ту же чашу пью,
мне те же вина льют.
А если руку взять твою,
условности уйдут.

Но я не взял. И ты печаль-
но отвернулась спать.
Не дай печаль твоих начал
нам, Господи, познать!

Под сердцем тихо. На нуле
мой пыл, толкавший в бой.
Господь сказал, что на Земле
не встречусь я с тобой.

Но ты явилась. Я узнал
тебя, как по клейму.
Опять столбы, разъезд, вокзал,
огни... и вновь во тьму.

ЗА ЗДРАВЬЕ ОЛИ

Я пью за здравье Оли
четвертый бокал подряд.
За шторой (худой от моли)
двора белоснежный зад.

Бульвары в соленой каше,
на окна летит труха.
Друзья говорят:
— Есть краше.
А я говорю:
— Ха-ха!

Я окна закрыл и двери,
чтоб жизнь эту крепче крыть.
Пусть пьют господа за Мэри,
я буду за Олю пить.

Изяцней красотки Оли
не выписать, не слепить.
Нет в жизни достойней доли —
за наших красоток пить.

Пусть гнется страна от голи,
пусть дьявола сын — Хусейн.
Я выпью за здравье Оли
весь местный дрянной портвейн.

А если жидомасоны
попрячут от нас вино,
я выдую все лосьоны
за здравье Оли. И сно...

И снова наполню кружку:
да здоровствует денатурат!
Пусть бронзовый дрогнет Пушкин,
а Barry Gornwall — сто крат.

Закружат в глазах бемоли
накидками снежных фей.
Я пью за здоровье Оли —
пусть будет всех здоровей!

СЛЕЗЫ СКВОЗЬ ТОМАСА МАННА

Ты с утра вплетала ленты —
я всю ночь их расплетал.
Между нами — ист цу эндэ —
как твой Томас предрекал.

День стыдлив, как дона Анна, —
синь, сентябрь, сэптэмбэр... чу!
Я вчера торчал от Манна,
от листвы теперь торчу.

Выйду в осень: грач на ветке,
галки спорят ни о чем.
Лихо шпринген кляйнэ метхен
с ошарашенным мячом.

Сквер. С ухмылкой Казановы
бродит осень в неглиже.
Над душой моей кленово,
и кленово на душе.

Дурь в мозгах, в карманах пусто,
мысль пожарною кишкой
набухает в «тыкве» гнусно,
но сэптэмбэр над башкой.

Осень листьям режет вены,
как неверным псам шиит.
Цвет пронзительной измены
под кроссовками шуршит.

Эту желтую отраву
заварила ты сама.
Что ж ты, майнэ либэн фрау,
тихо плачешь у окна?

Не сорваться б, как со стенда,
с чемоданом на причал.
Между нами — ист цу эндэ
и отсутствие начал!

Над обглоданной столицей,
над трущобами, как Манн,
я и сам вспорхнул бы птицей
и махнул за океан.

В ОТПУСКЕ

Вкруг деревни твоей все леса.
Ты о них столько лет лепетала.
Все сбывается, точно у галла:
домик, озеро, речка, роса...
Что же возишься ты, словно вошь,
что же мужу ты спать не даешь?

Дать бы в морду тому петуху,
что под ухом орет спозаранку.
Дядя с сетью ушел за таранкой,
кот предчувствует нервно уху.
Ты предчувствуешь негу, а я —
как всегда, новый вид бытия.

Ты предчувствуешь трель соловья,
кот с козой — деревенскую скуку,
тетя с дочкой — молочную муку,
дядя, верно, — безрыбье, а я —
в небе утреннем тоги Богов,
и свой взгляд не свожу с облаков.

Испаряется жизнь в облака.
Облака уплывают куда-то,
безмятежно, легко и кудлато.
Так и мы уплывем... А пока
с глупой рожей стою, как жених,
вероятно, предчувствуя стих.

Жизнь моя утекает в стихи,
а стихи уплывают куда-то —
в ту страну, где их жизнь и пенаты,
на меня оставляя грехи.
Остается лишь нюхать кирзу,
да босым выходить на росу.

СОН ЦАРЯ ЛЕОНИДА

По небу женщина летела —
прекрасна женщина на небе.
Не знаю, — праздно ли, по делу?
Должно быть, — к Федре, или Гебе.
И молвил я своим спартамцам:
— Какая женщина над нами!
И лучник в лоб постукал пальцем:
— Лечиться надо... временами...
— Но мужики, как есть, в натуре,
ослепли, видя лишь монету!
Готовы всякой верить дуре,
а мне не верите, поэту.
И устыдившись, други стали
взирать на облако без веры:
— И вправду, баба, — зачесали
затылки, — кудри как у Геры.
И все реальное в рутине
забыли, в небесах витая:
— И вправду, словно на картине,
красивая и молодая.
Но растворилась, словно в песне...
И небо синим и глубоким,
и легкокрылым стало (если
добавить перистые клоки).
Вот клочок сорвался, словно нимба
кусочек из горного металла,
как в знак того, что жизнь Олимпа
не только в гимнах протекала.

НА РАСКОПКАХ

Уползли в долину змеи
и ушла в Аид вода.
Предпоследний день Помпеи,
и последняя беда.
Смерть предчувствуют плебеи,
пьют патриции вино.
Предпоследний день Помпеи,
солнце бело, как бельмо.
Претор бледен и испуган,
претор знает, что труба,
лишь не знает, что супруга
любит черного раба.
Завтра в ночь — прощай, эпоха! —
у гордыни ты в плену.
Завтра в ночь под суматоху
побежит она к нему.
Не спасут ни храм, ни Веды
этот город от беды.
Завтра сбудутся всем беды,
а влюбленным — их мечты.
У прекрасной, как Елена,
помпеянки бродит кровь.
Завтра первая измена
и последняя любовь.
...Их отыщут без печали
через пару тысяч лет.
Раскопав, пожмут плечами
археолог и поэт.

В ЛЕТНЕМ ДОМИКЕ

Ставь самовар, о сахарная фрау,
стучи соседям и на чай зови!
Уж тихий час кончается. По праву
кончается и наше визави.

Сейчас проснутся дети. В коридоре
начнутся крики, драки... Ходуном
пойдут полы, как глюки в мониторе,
но устоит фанерный этот дом.

Уж время и «борзых» пустить по следу,
уж время встать, уж куча новостей:
соседка (ах!) ночует у соседа,
а он-то (ах!) — в лесу... Зови гостей!

Где Мельниковы? Спят? Стучи сильнее!
В быту фанерном к черту этикет!
Уж на полянку вышла Дульсинея,
уж полдник близится, а Мельниковых нет.

Уж клен веранду задевает веткой,
уж клен от ветра стал совсем патлат,
и Дульсинея юная с ракеткой
уж расстегнула до пупка халат.

Как он трепещет! Черт! И, кстати, первый
заметил я в халате том вранье.
И содрогается наш дом фанерный,
когда воланчик в высь летит ее.

Вот идиотская моя манера
подозревать во всем свою корысть.
Все зыблется, весь этот мир — фанера,
стабильна во вселенной только высь.

Как ни беги, как ни бросайся в травы, —
все тленно здесь от мозга до костей.
Ах, не о том я, сахарная фрау,
ставь самовар, зови на чай гостей!

ТРИПТИХ

1

Я устал быть обязанным небу по гроб
за твое пребыванье во мне.
Я оплеван, обруган тобой, как холоп,
и с тобою я в вечной войне.
Ты на Землю сошла мой закат протрубить,
схоронить то, что я не создал.
Я устал воевать и устал не любить,
я устал, дорогая, устал.
С каждым годом мрачней
и черствей с каждым днем
становлюсь, рассыпаясь крупой.
Утомился я шахматным прыгать конем,
и не быть утомился собой.
Не приемлет уж грудь ни сады, ни суды,
точно плавает пепел в крови.
Только сердце, оно, как пустыня — воды,
ждет любви и желает любви.
Да не той, с коей тайно выходит на связь
по ночам сатанинская сыть.
Но с Овидием снова под лампу садясь,
я рискую обруганным быть.
Ты спустилась сюда, ты явилась ко мне
превратить мое сердце в кристалл.
Я не лажу с собой и с людьми на Земле,
и в тебе пребывать я устал.

2

Всюду тряпки и тряпки. Тряпичная гать!
И куда мне от гати деваться?
У тебя нет минуты тряпье разобрать,
у меня — нет ее препираться.
Где мой меч, дорогая, где лук и копье,
где кольчуга и шлем мой столичный?
Мне досадно, что так подминает тряпье,
и ты прыгаешь куклой тряпичной.
Всюду тряпки и тряпки! Я их не прощу
за тряпичные мысли-культапки.
Я ищу свое небо и звезды ищу,
но, увы, натываюсь на тряпки.
Ты ресницы свои поднимаешь, как стяг,
кошка лижет тряпичную лапку,
я тряпичный от злости сжимаю кулак,
превращаясь в такую же тряпку.

3

Не понявший тебя и непонятый сам,
от твоих некрасивых обличий,
укачу за черту городскую, где гам
городской превращается в птичий.
Брошусь в травы, раскрою Овидия и
прошепчу, остывая: «Изыди!»
И Овидий мне будет роднее, чем ты,
и понятнее будет Овидий.
Что за чудо! Как подлинно! И каково!
День замрет над страницами пегий.

Засмеюсь от любовных элегий его
и заплачу от скорбных элегий.
И почувствую вдруг из нервного дня,
из приبلудного мира, что канет,
как вливается чудный Овидий в меня
и как в вечность нездешнюю тянет.
Я вернусь просветленный, но ты не поймешь —
свет поэта не всякому виден.
И подумаю я: «Что вот так и умрешь,
и останется только Овидий».

ПОСЛЕ ССОРЫ

По ночным переулкам, ледышки дробя,
я шатаюсь с больной головой.
Ненавижу тебя, презираю тебя —
я не твой, я не твой, я не твой!
Я не пес на цепи, не домашний Пегас,
не пижама, не плед, не пиджак.
И со штампом у нас, и без штампа у нас
все не так, все не так, все не так.
Убегу насовсем ту, иную, искать,
босоногий, в потертом пальто.
Буду женщин встречать, будет сердце стучать:
все не то, все не то, все не то.
А потом повторится и май, и гроза,
и другая расплещет края —
станет жечь и дразнить, и смеяться в глаза:
не твоя, не твоя, не твоя.
Да, ведь должен же кто-то простить и понять,
и принять бескорыстной душой.
Но все женщины утром мне будут ронять:
ты чужой, ты чужой, ты чужой.
И в краю престарелых, в печальном доме,
среди самых казенных вещей,
одиноко вздохну и пойму, и приму:
я ничей, я ничей, я ничей.
А на смертном одре удивлюсь: «Это все?»
И ответит мое божество:
— Все еще обойдется, уляжется все,
ничего, ничего, ничего...

НА ПРИЧАЛЕ

Это вовсе не мой, дорогая, причал,
на котором торчу в ожиданьи начал,
в ожиданьи любви, дорогая.

Не милы мне ни волны, ни тишь, ни песок,
ни ветра, что вздыхают и бьются в висок,
ни суда, что проходят мигая.

Расплывается лунная рябь по реке,
только нет ни единой души вдалеке,
да и сзади сравнительно пусто.
Здесь не в радость ни слава, ни блеск эполет,
ни девицы, с улыбкой смотрящие вслед,
ни родившийся вновь Заратустра.

Тут я всеми забыт, тут я вечный изгой,
и никто не влечет и не машет рукой,
и не ждет здесь никто без билета.

Позови же, родная, — сорвусь, полечу!
Я способен на все, и мне все по плечу.
Позови же меня на край света!

Или даже за край самой трудной тропой,
лишь бы только не здесь, лишь бы только с тобой,
а споткнусь — поднимусь неваляшкой.
Столько лет одиноко на пирсе торчу
и гляжу на луну, и глазами верчу,
и скрываю тоску под тельняшкой.

Позови меня, милая, в новую даль!
Я нуждаюсь в любви, как и всякая тварь,
и во всем, что давалось в начале,
что касалось ласк, и касалось рук,
что на плечи кладут, как спасательный круг,
чтобы выплыть из этой печали.

ОДНОКУРСНИЦЕ

Когда-то, помнишь, мы плутали
с тобой по ветреной Москве,
стихами встречных осыпали,
тонув то в лужах, то в листве.

Нам чувства вечными казались
при свете звезд и встречных фар,
и локотки у нас касались,
и падал свет на тротуар.

С тех пор, как жизнь нас разлучила,
я разлюбил в ночи гулять.
Стихи свои пишу в полсилы —
их стало некому читать.

Теперь я в вечной пребываю
печали и в мирских грехах.
На мир фонарный уповаю,
что был замешан на стихах.

И тешусь тем, что обвенчали
с тобой ночные фонари.
Ты утоли мои печали,
когда мы встретимся в дали —

в чужих мирах, в чужих пространствах,
куда допущен будет всяк.
Стихи нам будут в тех убранствах
опознавательный наш знак.

ИЗМОРОЗЬ

Это та красота, что как будто проста,
да уж очень хрупка и горда.
Только ветвь колыхнет, и ее понесет —
и уже ни на что не годна.

Это та егоза, что чарует глаза,
но попробуй к губам приложи —
только в руки возьмешь и почувствуешь ложь,
и поймешь подноготную лжи.

Ведь не терпит она ни любви, ни тепла,
и сердечный неведом ей гнет.
И беда не беда — на ладонях вода,
да и та вся сквозь пальцы уйдет.

ДА ПОЛНО, РОДНАЯ

Да полно, родная, томиться келейно
и хохлиться зябко, и кутаться в плед.
Давай откупорим бутылку портвейна,
поскольку ни капли шампанского нет.

Поскольку за окнами август, и дольку
луны съела звезд полуночная рать,
поскольку печаль снизошла, и поскольку
не хочется спать, а пора бы и спать.

Поскольку трепещет листва, и волнение
листвы не понять ни потом, ни сейчас.
За окнами август, и августа пенье
на пару с дождями не радует нас.

Поскольку улыбкой уже не встречает
нас младость и радость не бьется в окно.
Поскольку наш сын, вероятно, скучает
с бабулей, и нам здесь тоска без него.

Поскольку нам здесь что четверг, что суббота
и тянутся сутки с космический год,
поскольку живем столько дней беззаботно,
и нам непривычно с тобой без забот.

Поскольку кончается отпуск и мето-
немийное золото уж сыплет с дерев.
Поскольку наш день на исходе, и лето
уже отгорело, еще не горев.

ЛИЛИИ

Темное озеро, белые лилии —
линия к линии, в листьях головки.
Не прогоняй меня в бездны уныния,
не замечай моей плоской уловки!
Я поддеваю веслом эти лилии,
светлого что-то сегодня обилие.

Плыть бы, да плыть,
а вокруг только лилии,
поросли тинные, заросли синие.
Как же среди этих красот не отчаяться?
Мне поязвить бы, да все не случается.
Так получается под кукареканье:
поле цветов если рядом печалится,
значит цветы подарить будет некому.

Сколько же порознь еще будем маяться?
Целое озеро: лилии, лилии...
Плыть бы да плыть,
да вот мошки-эринии
над шевелюрой моей изгаляются.
Милая, тина за днище цепляется!
Не оставляй меня в безднах уныния!

...Чистого что-то сегодня обилие.
В озере сказочном спят они, лилии —
листья-сердца от дыханья качаются.

ГРОЗА

Небо грозное
в бешеных раскатах.
Это бесы воют
над душой в заплатах.

Жду тебя, сгораю
долгие три года.
Моя хата с краю
без громоотвода.

Небо грозное
пасть свою разверзло.
Там, над головою,
то просвет, то бездна.

Жду, молю и холю,
вижу, как страдаю,
мчишься через поле
к моей хате с краю.

Мчишься без оглядки —
грудь под кофтой пляшет.
Каждый раз в десятку
молния шарашит.

Прибежишь — отгаешь
на ликерах сладких.
Моя хата с краю —
твое сердце в пятках.

Твой супруг брезгливый
протрезвеет резво.
Усмехнется криво
в грозовую бездну.

Из берданки старой
лупанет при встрече.
Моя хата с краю,
а твоя — далече.

В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

В прошлой жизни, наверно, я был моряком. И моря
семь столетий скрывают мою скандинавскую суть.
Где-то рядом гноили творца «Старшой Эдды», но я
не столкнулся с творцом,

и не плачу по «старшей» ни чуть.

Столковенье же с младшей сестрицей кабатчика эР,
угрожало округе спалить все стога на полях.
Как душила в объятых она на голштинский манер,
как я в той же манере свой вольный предчувствовал крах.

Ради губ ее огненных небом храним был и для
чудных глаз голубых, и божественно солнечных плеч.
А кабатчик (соседействовал с ним я, как с горлом петля)
все точил и точил свой угрюмый разбойничий меч.

А на утро корабль уносил в мой родной непокой,
что извечную нить горизонта в судьбу мою вшил.
И стояла она на скале, и махала рукой,
и трепал ее волосы ветер, и слезы сушил.

Где б я ни был потом, и куда б ни тащила волна,
все пути, словно к Риму, вели к той скале насовсем.
А сегодня в трамвае мы встретились вновь, но она,
не узнав, отвернулась и вышла на площади эМ.

НО КТО ЛЮБИТЬ МНЕ СМОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ

Я до рассвета мог здесь бродить.
Вот серый дом со старенькой калиткой,
со шпилем флигель (а точнее — с пипкой),
скамейка, чтобы душу беречь.
В саду дорожка выложена плиткой,
но на нее нам больше не ступить.

Горит окно, но прошлое в муку
смолола осень, как тебе известно.
Бывать опасно здесь мне и не честно,
но только не бывать здесь не могу.
Без этого клочка земли мне тесно
в большом мире, живущем на бегу.

Давлю ледышки звонкие ногой.
С березы ворон смотрит осторожно.
Что, ворон-брат, тревожно и безбожно,
когда среди разумных ты изгой?
Все слишком поздно, сложно, невозможно
и глупо. Я женился на другой.

Что миновало, уж тому не быть.
Над головою тучи, в сердце льдинки,
которые и томные блондинки
уже не в силах даже растопить.
Но если насмерть заметет тропинки,
кто запретит сюда мне приходиться?

Не дай тебе, о, тем же заплатить!
Как бестолково дни мои влачатся.
На этой фразе все должно кончаться,
поскольку обрывается здесь нить...
Жизнь запретила мне с тобой встречаться,
но кто любить мне сможет запретить?

РЕКА

Куда, откуда и зачем
течешь ты, Млечная река?
Я одинок, далек и нем,
и ты бескрайне далека.

Мне Млечных волн твоих не знать,
не счесть героев на конях.
Еще так долго мне плутать,
тебе так долго течь впотьмах.

Как одиноко нам вдвоем.
Я знаю (мне не все равно),
что все куда-то мы плывем,
но вот куда и как давно?

Куда, зачем? Ползешь по шву
в ночи, покуда не уснешь.
Мне не узнать, зачем живу,
да и тебе, куда течешь?

ГИТАРА

Было время — не мыслил себя без гитары,
без гитары был свет мне не мил.
Брал баррэ, попадал под звенящие чары,
тихо дождь за окошком струил.
Сколько музыки, лирики было когда-то,
сколько звуков рождалось в тиши.
Перебрал я все ноты зари и заката,
и дождя в этой мутной глуши.
Но упала на землю гитара печально
и в иное вошла бытие.
С той поры не могу я настроить нормально
ни себя изнутри, ни ее.
С той поры я смотреть на людей стал не гордо —
то же сердце и то же плечо.
Без опаски я стал только три брать аккорда,
ничего, говорят, ничего.
Я под них развлекаю друзей на пирушке,
я не слышу, не вижу ни зги.
Я горланю стихи и вино пью из кружки,
и пускаю слезу от тоски.
Я пускаю слезу, хохочу до упаду
без любви, без страстей, без гроша.
А душа не смеется, ей что-то так надо.
Только что тебе надо, душа?
Но вернулся мой друг, как надежда и кара,
и настроил гитару под «ля».
Словно прежде опять зазвучала гитара,
но спою ли по-прежнему я?

ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА

Я сегодня проснулся и понял — рассудок в бегах —
тротуары в ракушках и в перистых высь облаках.

Словно гусь исполинский транзитом наш мир посетил,
но радар запищал, и ракетчик ракету пустил.

В пух и прах разметались по небу его потроха.
Сопривет, иноземец! Ни пуха тебе, ни пера...

Эх, ракетчик, ракетчик, чего теперь пялить глаза?
Видно, нынче не только в мозгах у поэта шиза.

Я сегодня проснулся и понял, стряхнув с себя плед,
что знаком с этим небом миллионы неистовых лет,

что разрушится мир, если смысл озарит, а его
ни умом не понять, ни испытать до конца, как вино.

А СЕГОДНЯ ТАК ТИХО

А сегодня так тихо, так тихо сегодня с утра:
не шумят тополя, и березы скромны и укромны.
Уж полгода как нет, уж полгода (а точно вчера)
моей бабушки, бабушки Анастасеи Петровны.
Пусть ей пухом земля, хоть на что ей земля в облаках?
Пусть ей прахом грехи, хоть грехам ее внуки дивятся.
Что за свойство людей распадаться на пух и на прах?
Пусть же пухом душа ее будет, чтоб выше подняться.
А сегодня так тихо, так тихо, как будто сама
Мать-земля вспоминает вселенское детство любовно.
Как мое беспризорное детство жалела она,
очень славная бабушка Анастасея Петровна.
Я не знаю, знавала ли счастье. Но то, что хлебнуть
ей пришлось, не выдерживает типографская верстка:
две войны, две разрухи, голодная волжская жуть,
грабежи, комиссары, холера, колхоз, продразверстка.
И всю жизнь в ожиданьи: то хлеба, то свыше детей,
то с войны мужика, то из плена, то писем из ссылок,
то зарплаты, то божеских цен, то победы идей,
а в последнее время —

все больше по ближним поминок.

Оттого на Руси поминают всех «горькой». И поп
больше дыму пускает, чем сладко поет для спасенья.
Так, всю жизнь экономя, едва накопила на гроб
очень кроткая бабушка, бабушка Анастасея.
А сегодня так тихо, так тихо, как будто в раю.
Пусть ей пухом душа,
чтоб плыла над Землей невиновно.

Кто замолвит словечко на Божьем Суде за мою
некрикливую бабушку Анастасею Петровну?

В ПРОЦЕДУРНОЙ

Что сердечко, сынок, не шагнув за порог,
надсадил уж, как ветхую дверь?
Только сердца порок в этом мире, сынок,
он не самый ужасный, поверь.

Что так губы белы от больничной иглы?
Перед нею и я — как сокол.
И в глазенках укор. Только в спину укол,
разве это, дружище, укол?

Что свернулся, как ноль, раскудрявый король,
на медбрата ресницы раскрыв?
Но сердечная боль — то особая боль,
и особенный в сердце надрыв.

Надорвешься потом, как упрешься в Содом,
где порок будет день оглашать.

И что делать? Кем слыть?

Быть — не быть? И чем жить? —
Лишь тебе, мой кудрявый, решать.

То ли к небу взлетать, то ли звезды хватать,
то ли высь проклинать как Дедал.
То ли кожу иметь, чтоб звенела, как медь,
но Господь этой кожи не дал.

Сердце, милый, оно — надрывное одно
на все пять миллиардов всех стран,
и весь мир сквозь него пропустить все равно,
что сквозь ушко иглы караван.

НЕ ЛЮБЛЮ МОСКВУ

Не люблю я Москву. Мне Москвы не прописана флора:
эти склепы метро, этих зданий седой монолит —
(третий Рим, Вавилон,
в перспективе, должно быть, Гоморра)
не лежит к ней душа, да и тело не благоволит.

Не люблю я Арбат за торгашеский дух, где абреки
скалят зубы в киосках и прячут в карманах ножи,
где зеваки из местных за импортные чебуреки
положили бы душу, да нету давно в них души.

Не люблю и Тверской в азиатах, ментах и бананах,
где почти нескончаем не крестный к Макдональдсу ход.
Не люблю переходы все в нищих, калеках, цыганах.
Ах, столичная жизнь — это в землю сплошной переход.

Я в подвале на Пушкинской выпью паршивого пива,
чтоб паршивее стать и смешаться с бульварной толпой,
чтоб помчаться, как все,
в никуда, с самурайским порывом,
чтоб потом завернуть на Второй Гончаровский домой.

Плюхнусь я на кровать. Вот же черт! Как Ясон намотался.
Но обступят друзья: «Ты откуда? Скажи, не губи!»
Ах, откуда я взялся? С соседнего неба сорвался,
как товарищ мой бывший, а может, — и прямо с цепи.

Не люблю я Москву. Отчего же с дурацким восторгом
на Казанском схожу, и трепещет душа, как в раю?
Если я пропаду, — не звони, дорогая, по моргам —
я в Москве в переходе с гитарой и шляпой стою.

В МАВЗОЛЕЕ

Никогда я не был в мавзолее,
но пришел однажды в мавзолей.
В нем полы от импортных «мамзелей»
оказались чуточку светлей.

Полумрак и мрамор, и ступени —
вниз под землю, будто в Воланд-Град.
Был один бы, затряслись колени,
но толпой — не так ужасно в ад.

Вот и зал, где он в кровавом свете
под стеклом уж столько лет подряд.
Здесь, наверно, обмирают дети,
но те, в форме, бдительно следят.

Здесь во тьме, под мраморным покровом
он главней всех мраморных светил.
Ни почтения, ни чего иного
в ту минуту я не ощутил.

И пройдя, как все, вокруг, робея,
я подумал: «Боже, как устал.
Все я видел это. И добрее
от того, что видел, я не стал».

Ах, добра не ищут в мавзолеях,
не затем приходят в мавзолей.
Небо сплошь в усталых Пелагеях.
Твердь мертва от мраморных аллей.

НОЧЬ В ВАРШАВЕ

Посреди ночной Варшавы
у костра под гам
что-то пел из Окуджавы
пан варшавский нам.
А голландец моложавый
бренди подливал.
Над Варшавой месяц ржавый —
польских звезд завал.
Сбрендя, пан хрипел тотошей
в местные умы
типа: «Дайте бедным грошей»,
и смеялись мы.
Вряд ли, братья-варшавяне,
гроши вас спасут.
Вы славяне, мы славяне —
ждет один нас суд.
Над Варшавой ветер шалый,
месяц, как наган.
А голландец моложавый
лил и лил в стакан.
Спали рынки, лавки спали,
скверы зрели сны,
спали венгры на вокзале,
но не спали мы.
Вечер добри! И как в сказке
зрели светлячки.
И закатывали глазки
варшавяночки.
И сиял ночной румянец,
и костер пылал,

и все пели, а голландец
снова подливал.
Вечер добри, пан! И драный
свод катился прочь.
Над Варшавой месяц пьяный,
с «дзеньприветом» ночь.
Ночь последняя, как «Ватра»
на двоих с травой.
Зачехлим гитары завтра
и домой, домой...
Польша спит, но Окуджавой
удивляет пан.
Над Варшавой свод лажавый,
месяц кем-то дран.
Кабачки немые и танцы,
нем пивной шатер.
Ах, дзенькую хоть голландцу,
что развел костер.
Добри, паны-варшавяне,
в мире все уснет.
Вы славяне, мы славяне –
нас любовь спасет.

ГРАНИЦА

Ты живешь на одном берегу,
я живу на другом берегу.
Только ты никому ни гу-гу,
только я никому ни гу-гу.

Я не стану душою кривить
и вопить на своем берегу,
что бессмысленно реки делить
и молоть наши пашни в муку.

Ночью звезды взойдут над леском,
приплыву я на лодке тайком
косу выменять на кочергу.
Только ты никому ни гу-гу.

Ты не станешь душою кривить
и крамольные мысли рождать,
а задумают мир разделить,
скажешь: сверху им лучше видать.

Нам до хруста сожмут кулаки,
сунут в руки потрепанный флаг.
Не серчай, если будем враги!
Говорят, ради наших же благ.

Друг на друга отправимся вброд,
от натуги осипнет кадык.
Ты мне пулю отмочишь в живот,
следом молча наткнешься на штык.

Будет ветер и темная ночь,
журавлей растеряется клин.
И твоя разрыдается дочь,
и уткнется в подушку мой сын.

Нас отыщут, отпишут строку,
побросают в могильный овраг.
Говорят, ради наших же благ.
Только ты никому ни гу-гу.

Но забудется все, и слезу
лишний раз не смахнут. И, как знать,
через несколько лет на козу
сын захочет овцу обменять.

Он растопит в груди своей лед
и тайком за кордон поплывет.
Пусть смутит его там, на камнях,
ваша девка с чертями в глазах.

ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА

Почему так на свете бывает:
сердце любит, а мысль отвергает?
И от этого сомнокруженья
ни спасенья, увы, ни движенья.

Этот мир лишь раздоры питают:
мысли холодны, души сгорают.
Если разум блестяще рассудит,
значит, сердца вовек не разбудит.

Как ему объяснить похитрее,
что на свете есть лучше, добрее?
Но под ритм ему разум, как в книге,
наплетет паутиной интриги.

Сердце нашим рассудком играет,
сердце что-то свое полагает.
Оно ветви разумные рубит.
Оно, глупое, любит и любит.

Я СПРОСИЛ ВЧЕРА У ГУМАНОИДА

Я спросил вчера у гуманоида:

— Что такое «вектор эволюции»?

Он ответил:

— Это экзекуция
от самосознания к созданию
самого себя через познание
из простой песчинки астероида.

И еще спросил я у него же:

— Что такое «принцип трансформации»?

Он ответил:

— Это операция
между «я» и мыслящим эфиром
для признания истинным вас миром,
тем, который вы зовете «Боже!»

В третий раз спросил я, словно Павел:

— Что любовь людей для мироздания —
блажь, игра, спасенье или мания?
Долго думал гость ночной, бледнея,
наконец ответил:

— Вам виднее!

Сдулся, улыбнулся и растаял.

РАЗГОВОР С ДУШОЙ

— Примешь пятую рюмку, душа?
— Я приму. Только примет ли глотка?
— Глотка примет. Но кончилась водка,
и в кармане моем ни шиша.

— Что же спрашивал, раз без гроша?
— Да хотел с точки зрения зелья
я познать свою степень веселья
и твою ненасытность, душа.

— Это ложь! Ты не то полагал:
души будят не огненной влагой.
Их питают умом и отвагой.
— Да, конечно. Прости! Я солгал.

— Что ты хочешь тогда от меня,
заливая водярой мой пламень?
— Лишь один на душе моей камень:
что есть ты, а точнее, кто я?

— Ты всего лишь сосуд без огня,
в коем «я» начинается с глотки.
Пустота вечно требует водки.
Требуй меч со щитом и коня!

— Не советуй! Зачем укорять
тем, что жило в груди моей пылкой.
Кстати, тащится кто-то с бутылкой.
Примешь рюмку?
— Да как не принять?

Я К ИСТИНЕ ТОПАЛ

Я к истине топал стезею избитой,
я клен повстречал на рассвете.

— Да где же, — спросил я, — собака зарыта?

— Под каждым кустом! — он ответил.

Еще не опавший, не ведавший быта,
не знавший голодных и сытых:

— Под каждым кустом, — говорил он, — зарыта,
а сколько еще незарытых...

Я славу презрел, светский гогот и биржи,
я к истине шел без оглядки.

Чем ближе я к ней подбирался, чем ближе,
тем злее хватали за пятки.

Я видел, минуя кусты и овраги,
как тропы Отчизны кривились,
и даже зарытые в землю собаки,
и те, подо мной шевелились.

Из прошлого трель верещит кукарачья,
в грядущем грома сотрясают.

Собак ожидает кончина собачья,
а путника псы растерзают.

Я понял однажды, бледнея от злости,
не выйти живым мне из драки:

бредущие к истине — вечные кости,
а все остальные — собаки.

Прощай, неопавший! Уйду я незрячий
опять в бездорожные дали.

Ведь слеplено так в этой жизни собачьей,
чтоб истины мы не познали.

НА ОСТАНОВКЕ

Что ожидание есть? — Унижение,
планов крушение, время теряние!
А на шоссе никакого движения,
а в небесах никакого внимания.

Зря только сердце надеждами мучаю —
мне, как везунчику, вряд ли прославиться.
Зря я доверил судьбу свою случаю,
нужно пешком было сразу отправиться.

Жду бестолково, как ждут указания,
снежная змейка ползет с завыванием.
О невезение! О невязание
далестремления с ночезеванием!

Холодно. В щеки морозец впиваясь.
Право бы, лучше стоять уж на паперти.
Если бы вправду пешком я отправился,
то отмахал бы наверно три четверти.

Зубы стучат, и гнетут угрызения
совести от бестолкового бдения.
Что остановка есть? — Пункт невезения,
пункт ожидания, веры растления!

ПОЧТИ ПО КАВАФISУ

— Что в городе так мрачно и убого,
В столетнем запустеньи храм и площадь?

— Прошел слушок, что варвары уходят,
И вновь преобразится древний город.

— Кто оплевал святыни и бульвары,
Разграбил лавки, алтари и граждан?
Кто скорбь и страх посеял в горожанах?

— Те варвары... из прошлого столетья.

— Зачем сенат, как старый параноик,
Плетет свои бездарные законы
И сам же их, презрев, не соблюдает?

— Он ждет, когда нас варвары покинут.

— Что риторы достойные лепечут
Так нудно, длинно и плебейски лживо?
Кого сто лет дурачат, как младенцев?

— Тех варваров, детей степей голодных.

— Где вера в святость, смысл и добродетель?
Где книги мудрецов? И от кого их
Так чинно и упрямо старцы прячут?

— От варваров, чтоб не вбирали мудрость.

Ну, вот и день прошел. И слава Богу.
А следом ночь... А варвары не вышли...
И лишь с лучами солнца догадались,
Что вымерли давно все горожане...

и только варвары одни остались.

ЧЕЛЮСКИНЦЫ

Кремлевская площадь увита флажками,
совдепия в снах и трудах.
А там, между полюсом и Соловками,
челюскинцы гибнут во льдах.

Метели звенят. Закордонные дамы
сминают платочки в горсти.
Летят иностранные в кремль телеграммы:
«Позвольте их души спасти».

Никто не растроган, не рад и не тронут,
лишь пальцы наркома дрожат:
— Да-да... очень скверно, челюскинцы тонут —
буржуи на помощь спешат...

Разгневанно кесарь сверкает глазами,
в Кремле ожиданье грозы.
— Спасибо за помощь... Мы сами с усами... —
шевелиются в карте усы.

Все тонет. Серы в кабинетах портреты.
Глаза опускает народ.
По сейфам пылятся «дела» и «заветы»,
советы вморожены в лед.

— Прочь руки! —
с надрывом воскликнут державным
кухарки, — Тут наши моря!
Не быть никогда в них судам иностранным!
(Ведь стыдно — кругом лагеря).

Метели свистят. В юртах дрыхнут эвенки.
В термометре скурвилась ртуть.
Поставить бы там же Челюскина к стенке,
чтоб знал, где, каналья, тонуть.

Зашторены окна Кремлевской палаты,
ЧэКа засыпает в кино.
Снега сиротливы, как Божьи заплаты.
Забейте в Европу окно!

ВЗГЛЯД С МОСТА

Скована льдом река,
скован у пирса бот,
скованы барж бока,
краны уперлись в лед.
Тихо смотрю с моста
вдаль, что всегда пуста.

Скованы льдом кусты
на ледяных ветрах,
скованы льдом кресты,
что на людских телах.
А под телами тьмы,
тьмы мировой тюрьмы.

Фары скользят визжа,
лед под мостом синей.
Скована льдом душа
грубой страны моей.
Спрыгнуть бы вниз. Да вот
плотью пробью ли лед?

Так сотню лет живешь,
в снежный вживаясь хлам.
Целую вечность ждешь,
что лед растает сам.
Дайте повыше мост,
произнесу я тост.

ГРАЧАТА

Без свечи в изголовье,
без церквей и Руси
нас накроет безмолвьем,
как грачат в небеси.
Там, впотьмах дохристовья,
в словесах зрела плоть.
От тупого безмолвья
упаси нас, Господь.
Упаси от печали,
что бессмертье крадет.
Было слово в начале —
послесловье грядет.
Рассыпаемся снова
в галактический сор.
Помоги наше слово
поддержать, как костер!
Я не верил в свечение
ритмизованных строф.
Есть слова без значенья
и значенье без слов.
Но галактики дрогнут,
словно стайки грачат,
если Музы умолкнут,
да и пушки смолчат.
Мы свое открычали
в типографском свинце.
Было слово в начале,
будут титры в конце.

РОССИЯ

За рекою поля капустные
и гармонь заливаётся слезная.
Отчего бесконечно грустные
твои песни, Россия звездная?

Эта Троя всего лишь выкопана,
и всего лишь открыта Америка,
Ватикан засечен по пеленгу,
Рим разграблен, Россия выплакана.

Как тебя на колени ставили,
и нагою на снег выволакивали,
между тем, как Европу славили,
горемычную Русь выплакивали.

Сколько крови без толку пролили,
сколько «горькой» от горя вылакали,
пепел лучших пустили по ветру,
землю съели, Россию выплакали.

О как души людские вытоптала
эта мертвой земли материя.
Кто народы спасет от неверия,
уж не ты ли, что русичей выплакала?

ПО ПОВОДУ ГРЯДУЩЕГО

Европа, наверно, должна быть уверена в Висле.
Буддисты должны быть уверены в собственном смысле.

Должны быть уверены в Феликсе Кремль и Лубянка,
а к свету идущие — в добром намереньи Данко.

И должен быть прапор уверен в Российском мундире.
Секс-бомба должна быть уверена в секс-бомбардире.

Монашка — в земной чистоте и небесном чертоге.
Монарх — в справедливости и всекарающем Боге.

И я, что бы дальше по жизни тащиться, как мерин,
в грядущем Отчизны родимой быть должен уверен.

ЭТОТ МИР

Левитация — миф. Так кондовы и хрупки
наши кости, что только недуги нам множат.
Крылья голову кружат не больше, чем юбки,
и не меньше, чем черви сомнения гложут.

Тяготеем все больше к бетону и стали —
не к небесным просторам, зовущим к полету.
Сотни лет чертежи мы Дедала искали,
а наткнулись на новый проект пулемета.

СТАЯ

Саванна звенит от винтовочных шквалов,
но в нас не стреляют — мы стая шакалов.

Летим за добычей. Кто первый ухватит?
Мы стая! Нас много! На задних не хватит.

Что ждет нас: расплата, досада, награда ль?
Мы стая. Нас много. Сойдет нам и падаль.

Мы подлы от падали. Божье юродство.
Шакалу — шакалово. Льву — благородство.

Да здравствует падаль особ августейших!
В нас брезгают пулю. Да будет подлейший!

Трусим за властителем мягко, как гномы,
но рухнет властитель — сожрем и его мы.

И рвать из зубов друг у друга добычу
начнем по шакальи. Таков наш обычай.

Нас много. А степи пусты и пространны.
Не божьи мы твари — мы утварь саванны.

ВСЕЛЕНСКАЯ ЯЗВА

Мы все когда-то сдохнем,
но перед этим вдруг
ослепнем и оглохнем,
забудем, кто есть друг.

И звездная дорога
устанет нам светить,
поскольку больше Бога
утробу станем чтить.

Седую Лисистрату
зажарят на костре,
и плюнет в морду брату
сестра, а брат сестре.

И будет нас к ответу
лишь призывать беда,
чтоб после сбросить в Лету
без Божьего суда.

И на пустой планете
посадят корабли
наивные, как дети,
вселенной патрули.

Воскликнут: «Воскресайте,
антимиры и свет!
Плодитесь и рожайте!
Той язвы больше нет!»

ПОД ФОНАРЕМ

В этот двор без любопытства, как в нору,
льют нездешний, льют холодный звезды свет.
Одинок бродит мальчик по двору,
и в миру ему лишь семь неполных лет.

Грустно, зябко, одиноко. На кольце
нет трамваев. И такси не слышен гул.
Вот поерзал на снегу, вот на крыльце
посидел, в собачью будку заглянул.

Пусто, зябко. Вот забрался на дрова,
вот снежок слепил — не лепится снежок.
Зябнут ножки, зябнут ручки, в рукава
задувает: «Мама, мама, я задрог!»

Вот сорока пронеслась, ни дать, ни взять,
следом — кошка, и снежинок — пруд пруди.
Спит навес, поленья спят, уж время спать.
Спят все дети: «Мама, мама, приходи!»

Грустно, зябко. Так неласкова луна.
Мама ласковей, но тихо на пруду.
Смолкли рельсы, встали стрелки, как она
сладко чмокнула: «Сейчас, сынок, приду.»

Поиграй, сейчас приду...» И не идет.
Лишь духами обдала и дверь на ключ
заперла. И молча рыбки вмерзли в лед,
и земля покорно вмерзла в лунный луч.

А луны так равнодушен взгляд. И сир
свет фонарный. «Как же мама в этот дрем
привела... в такой чужой и страшный мир
и оставила в мороз под фонарем?»

Как тосклив фонарь. И снег на фонаре
словно мамина беретка на ветру.
Уж все окна погасили во дворе,
а мальчишка все гуляет по двору.

Так и нас сюда с любовью в глазах
Он привел, сказал «вернусь» и сгинул — где?
Уж все звезды погасили в небесах,
а мы бродим все и ждем Его во мгле.

О СОБСТВЕННОЙ НИЧТОЖНОСТИ

Иногда я себя ощущаю песчинкой
перед бездной ночной, если в высь засмотрюсь.
Сразу в горле першит, и мыслишки с горчинкой
посещают, и в сердце вживается грусть.

Если быть не клопом мне планетным, а, скажем,
астронавтом с тарелкой, звенящей как медь,
и тогда бы не знал, что к чему и куда же,
для чего и в какие пространства лететь?

Я себя ощущаю ничтожным, ненужным
перед космосом, где все свистит и гудит,
что на Землю взирает с лицом равнодушным,
если только и вправду на Землю глядит.

И тогда мне приходит, что вот затеряли
нашу жизнь на Земле, как дождевку в плаще,
и не вспомнят никак этих наших реалий,
если помнили только о них вообще.

ЖИЗНЬ — ДВИЖЕНИЕ

Мне однажды приснилось, что в космосе
засекли на радар звездолет.

Как взволнованно замер на глобусе
весь людской изувеченный род.

«Кто ты, брат по рассудку и сирости, —
просигналили вверх, — и рожден
где ты? Кто твои предки? И милости
просим в гости... И с трепетом ждем...»

Но в ответ на земное и страстное
как-то буднично свистнул канал
и умолк, что-то выдав неясное.

Но прочел шифровальщик сигнал:

«Я с прекрасной планеты Эмелии,
но рожден я среди звезд и комет.

Наш полет на шестом поколении
завершится за тысячу лет.

Я не видел планеты Эмелии,
но мой прадед всю жизнь горевал,
вспоминая тот день, как в волнении
он с планеты своей стартовал.

А потом в нем тоскливость и жречество
разрастались, рассудок губя,
и в бреду он шептал: «Ах, Отечество,
все отдал бы, чтоб видеть тебя...»

Так и умер с тоской по Эмелии,
впав угрюмо в космический тик.

Заморозили тело мы в гелии.

Жаль. Такой был хороший старик.

Мне чужда была скорбь по неведомой
и оставленной в прошлом стране.
Я не видел планеты прадедовой,
но не грустно от этого мне.
Разве можно хранить то, что пройдено,
и понять не могу тех друзей,
для кого планетарная Родина —
есть конечность в галактике всей.
Наша цель — на шестом поколении,
цель моя — лишь свой путь одолеть.
Жизнь — короткая цифра во времени,
и боюсь, что могу не успеть.
Пусть прекрасней, Земля, ты Эмелии,
но полет твой — лишь замкнутый круг,
и ты бродишь в одном направлении,
как и восемь твоих же подруг.
Для меня и минута — крушение,
если праздность ее посетит.
Жизнь — движение, только движение!
Не движения — жизнь не простит».

СОВЕТ

Любите жизнь какой бы ни была,
возносит ли она, в неволе губит!
Пусть милая вам стала не мила,
и самого уж вас никто не любит.

Пусть смысла нет под небом, где куем
подковы и стропила кроем толью.
Любите жизнь, которой мы живем,
которую потом покинем с болью.

А судьбы наши вправду как лото,
и счастье — дым, и на любовь пеняем.
Любите жизнь! Вы спросите, за что?
За то, что жизнь иную мы не знаем.

ВСЕ В ПРОШЛОМ ГЛУПО

Эдуарду Балашову

Но оглянуться нас заставят годы.
А за спиной лишь войны. И народы
с немим упорством топчут этот свет.
Все в прошлом глухо, глупо и жестоко:
то в лапах Сатаны, то в лапах рока,
а Божьего Суда все нет и нет.

А суд людской продажен от природы,
народы топчут свет, и ждут народы
кого-то свыше, кто поднимет плеть.
Прости, Господь, что люди так нелепы!
Народы топчут свет, а значит слепы,
но дай надежду как-нибудь прозреть.

Прости, Господь, что души губим в злате!
Народы топчут свет, который, кстати,
сложнее запятнать, чем ухватить.
Жизнь перемелет все, переиначит,
народы топчут свет, а это значит...
А это значит — учатся ходить.

Прости же нас, хулящих и юлящих,
пропащих и оружием звенящих,
завистливых, невежественных, злых!
Прости нас темных, сонных, горемычных,
неисправимых и несимпатичных,
трусливых, блудных, жадных и дрянных!

Прости нас, неразумных, ибо разум
в страданиях прозревает, и не разом,
а миллиарды долгих трудных лет.
А свет как зайчик солнечный, который
не затоптать ни ордами, ни сворой,
всегда он чист, как Лик Господень, свет.

ПЕРЕД СНОМ

За род людской пытаюсь, как халдей,
молиться, но молитва застревает
в гортани, и рассудок понимает
всю бесполезность здоровья людей.
Всю бесполезность в облегченье их
суровой доли с воплями и кровью.
Кто не тянул ярмо свое с любовью,
тому не ведать тайн небесных сих.
В блаженстве люди век не обретут
все то, что постигается терпеньем.
Земная боль соседствует с прозреньем,
а волю выхолащивает труд.
Нужда рождает горний мир идей,
а в счастье — ни порывов, ни движенья.
Страданья, униженья и лишенья
сговорчивыми делают людей.
Предполагаю, что и Отче наш,
и Тьмы Властитель делают умело
одно и то же праведное дело
для блага нас, обожествлявших блажь.

Да, все идет как надо! И стара
отрае песнь с халявными хлебами.
Кто никогда не скрежетал зубами,
тот не оценит Царствия Добра.

Все понимаю. Вижу эту связь.
Но не могу ни сердцем, ни наружно
добру и злу внимать я равнодушно.
И засыпаю с болью, не молясь.

ДЕМОКРИТ

Спит Фракия, спят мудрецы,
спит стража, вор в ночи затих,
гетеры спят, рабы, купцы,
поэт, зевнув, упал на стих.

Спят дети, трагики, певцы,
диктатор спит, посол, банщик,
спят площади, дома дворцы,
спит пьяный, нищий, ростовщик.

Спят в кабаках и на крестах
под стон, под птичью трель в тиши.
Все небо в огненных звездах,
весь воздух в атомах души.

Ночь в Абдерах. Философ хлеб
в вино макает в полусне:
«Кто смотрит и не видит — слеп,
кто видит молча — слеп вдвойне.

Пусть одурачен блеском плебс,
вином рубиновым — гурман.
Но мне мыслителю, о Зевс,
на что глаза? Глаза — обман!»

Ночь в Абдерах. Грядет гроза.
Сопит фракийская дыра.
«Пора выкалывать глаза,
пора, мой друг Левкипп, пора».

Кто смотрит и не видит — слеп,
пусть взор холодный — лоб горяч.
Несущий людям Божий свет —
единственный, кто в мире зряч.

Спит Фракия. Все в мире спит.
Вселенная свистит во сне.
Луна внимательно следит
за хлебом с пальцами в вине.

НОЧЬ С СЕНЕКОЙ

А душа, она крылата,
ты лети, душа, голубкой!
Сбрось хоть на ночь, воин, латы,
не тряси, фракийка, юбкой!
Но душа — она под телом,
тело спрятано под панцирь.
В Риме ночь, заря сгорела,
пышет плоть протуберанцем.
Кабаков открыты двери,
за столами панибратство.
Говорил старик Тиберий:
«Люди созданы для рабства».
На столах вино и яства,
гогот, хохот да икота.
«Люди созданы для рабства,
словно жабы для болота».
Смотрит месяц, смотрит куцый,
бледный, как в актерском гриме.
До зевоты скучно, Луций,
даже спиться в вечном Риме.
Лишь надежды нас питают,
и когда войну объявят,
ой, как в жилах заиграет
кровь, которая прославит.
Право, Луций, без лукавства
лучше доли нет, послушай,
чем из плоти, как из рабства,
выпускать на волю души.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЮЛЯ

Вот и последний закончился день —
в воздухе смута.

Нынче в сенате зловещая тень —
заговор Брута.

Пальцы жреца холоднее чем лед,
жертвенник тухнет.

Завтра с рассветом мой Цезарь умрет,
завтра все рухнет.

Завтра засвищут пронзительней пуль
ветры в природе.

Мы не успели и вжиться в июль —
он на исходе.

Август наш будет спокойный, как свод,
сонный и тихий.

Что трепыхаться нам, если умрет
Цезарь великий?

ЖИТЬ В СТРАХЕ

Жить в страхе с гильотиной над планетой,
должно быть, так и нужно в жизни этой.
Всегда я ждал каких-то катастроф.

Не помню их истоки и анналы —
больные сны, научные журналы,
пустые слухи, пыль священных строф?

В семидесятых ждал землетрясений,
затем каких-то космопотрясений,
в восьмидесятом мрачно ждал войну,

комету ждал (уж не припомню дату),
ждал за людские помыслы расплату,
все ждал, и ждал, и чувствовал вину.

Но лгали кулуарные пророки —
ничто нигде в назначенные сроки
масштабно не смывало, не трясло.

Год проходил, за ним другой, а люди
живут, как жили: водку пьют и блудят,
и их несет, куда всегда несло.

Но каждый год опять витают слухи:
«Конец уж близок, думайте о духе...»
Скорей бы уж! Но сознаю в тоске,

что эта горемычная планета
всю жизнь свою ждала кончину света,
вися на самом тонком волоске.

И тут я понял смысл земного страха:
не слиться бы (как с кровью слилась плаха)
нам с чертовой материей. Ведь плыть

нам предстоит потом без тетки Геи.
Мы, люди, — лишь материи лакеи.
Господь велит нам господами быть.

ДАВАЙ ЗАПУСТИМ ЗМЕЯ

Сыну

Давай запустим змея,
давай его запустим!
Пускай над головою
журавликом летит.
Пускай рожденный ползать
побудет в шкуре птицы,
пускай хоть раз оттуда
на землю поглядит.

Пускай себе трепещет
от воздуха и ветра,
пускай не только чревом
окинет этот свет.
Пускай рожденный гадом
вовек не будет Гудом,
пускай рожденный в прахе
считает все за бред.

Пускай рожденный в глине
уйдет обратно в глину,
пускай рожденный слизнем
благословляет слизь.
Давай запустим змея
и нить его отпустим!
Кто помышлял о вышнем,
того подхватит высь.

НЕ ПЛАЧЬ, МОЯ МАМА

Свинцовое утро, и ветер с дождем,
трехлетний сижу я на шее у мамы.
На нашем пути лишь канавы и ямы,
и большего в жизни мы с мамой не ждем.

Вдоль берега тащимся, плещется язь,
круги на воде, под ногами трясина.
Детсад чёрте где! Ни трамвай, ни дрезина
не ходят... Туда лишь пешком через грязь.

И чмокают боты на все голоса,
и дождь не щадит, и ничуть не светает,
и мама плетется, и слезы глотает,
и я утираю ей сверху глаза.

Не плачь, моя мама, не надо, не плачь!
В лишениях всевышняя скрыта награда.
Не всем же в князья! Ведь кому-то и надо
месить эту грязь наподобие кляч.

Наивная мама... Под ветер и снег
поймешь ли, что грязь под ногами всего лишь
пустая условность, которую смоешь,
а в помыслах грязь не отмолишь вовек.

ГАРЬ ДА ПЕПЕЛ

В этом доме давно я уже не бывал,
в этом доме мне больно бывать.
А бывало, что тут ночевал и дневал —
меня помнят сундук и кровать,

и тяжелый комод, и скрипучая дверь,
и в лепнинах облупленный свод.
Жили бабушка с дедушкой здесь, а теперь
моя мама, к несчастью, живет.

Это лучшее было когда-то из мест —
мой единственный в детстве приют.
А теперь здесь тоска несусветная есть,
ночью крысы картошку грызут.

И ругается мама: «Топи — не топи
эту чертову печь — все равно
в доме холод собачий, как будто в степи,
а не в доме, и так уж давно».

Не топи, моя мама, не стоит труда!
О, тебе ли не знать, что почем?
Ведь из этого дома ушла навсегда
сама жизнь, ну а печь ни при чем.

Сколько дров не спали, здесь не будет, увы,
так тепло и уютно, как встарь.
Все уходит в трубу и помимо трубы,
оставляя лишь пепел и гарь.

Все ветшает, плошает, гниет и притом
пороастает извечным быльем.
Только часто во сне вижу прежний я дом
с развеселыми предками в нем.

То ли в рай утянули они его, то
ли он сам в те пространства ушел?
Без тепла человеческого стены ничто —
гарь да пепел, муляж муляжом.

СПАСИБО

Когда споткнусь и упаду,
не обвиню свою эпоху,
не пожалею ни на кроху,
что жил и видел темноту.

Что брел, задумчивость творя,
На ощупь, как и все пииты,
и были фонари разбиты,
и было мне — до фонаря.

Иной не ведал я беды,
чем человеческая слепость.
Я не вопил: она нелепость,
и не бежал от темноты.

Хоть мыслить мало кто горазд,
и светом тут никто не бредит,
но лишь кулак, что в глаз заедет,
на миг просвет какой-то даст.

Пускай хоть он оставит след.
Когда же мне засветят лично,
я отнесусь философично —
спасибо хоть за этот свет.

НА КРАЮ МИРОЗДАНИЯ

О мои молчаливые братья оттуда,
я совсем вас не помню! Средь шумного люда
одинокو слоняюсь. Точнее, плутаю
наугад в темноте. И когда-нибудь к маю
или к августу, братья, и я перед вами
отчитаюсь на небе, скорей, не словами.
Понимаю, что должен впотьмах и на брюхе
отбабахать свой срок во хмелю и не в духе.

Я не знаю, откуда и кем я ниспослан,
где обитель моя? Кто учитель: Апостол
или Черный Даймон? В чьих истлею объятьях?
Этот мир в темноте и порочных зачатях
пребывает, где я, как в темнице Даная,
скучно дни провожаю, иного не зная.
Но уверен, что вас нет мудрей и красивей.
Чем болтливей поэты, тем вы молчаливей.

Вот опять одиноко иду на дорогу.
В небесах беспросветно. Ни черту, ни Богу
не внимают пустыни (ах, Миша, солгали).
Всюду тьма и безмолвье. Давно отмигали
те миры. И теперь словно в жмурки играем
на краю мироздания меж адом и раем.
Но повязку с бровей я сорвать не рискую,
вдруг, прозрев, мои братья, втройне затоскую.

УМЕР ПОЭТ

Умер поэт неизвестный, непризнанный,
старый, больной, небогатый, неизданный.
Все ничего... Все потом... Все уляжется...
Смерть и поэзия. Как-то не вяжется.

В церкви друзья отстояли повинную,
речь изрекли перед гробом недлинную.
Выпили, крикнули... Тьма глаукомная...
Смерть и поэзия? Что-то знакомое.

Заколотили. Ни капли учтивости.
И в мироздании нет справедливости.
Кончена жизнь без признанья никчемная.
Гроб опустили. Потухла вселенная.

Скатерть постелена, вымыта горница.
Завтра ни строчки, ни буквы не вспомнится,
имя сотрется без роду и звания.
Смерть и поэзия... Тьма мироздания...

СЕРДЦЕ

День осенний, день печальный,
каплет с веток, каплет с крыш.
Что с тоской маниакальной,
сердце, стонешь и болишь?

Век ли катится к закату,
в лед ли вмерзли лопухи,
получаю ли расплату
за грехи и за стихи?

День печальный, как омега,
день в ветвях блестит, дрожа.
Затянулась осень. Снега
ждет усталая душа.

Ждет природа обновления,
ждут дворы серебристых крыш.
Сердце, что ты, как знаменье,
стонешь, ноешь и болишь?

Что не гонишь к парапетам,
с другом в горы, с девой в стог?
Каждый день свечу рассвета
просыпаю, как сурок.

Сердце, что я изначально
недопонял здесь, в миру?
Я на мир смотрю печально,
и печально в нем умру.

Мир грядущий не нагонишь,
мир прошедший не простишь.
Да по ком, дружок, так стонешь?
Да по ком все так болишь?

Не по той ли, что не встретил,
и давно уже не жду?
Затянулась жизнь. И с петель
ветер дверь сорвал в саду.

И теперь срывает крышу
в затянувшуюся тишь.
Сердце, бьешься как, не слышу,
только слышу, как болишь.

МОЙ АНГЕЛ

Прошу простить меня великодушно,
что ваш покой нарушил я полночный.
Без вас тревожно, пусто мне и скучно,
печаль царит в веселья час урочный.
Но обронил мудрец еще в начале,
что вырастает радость из печали.

Я вас не знал и ныне вас не знаю,
зеваю равнодушно, точно немец.
Свои печали зерна засеваю,
и глух к чужим печалям как пришелец.
Я весь уж там, в грядущем, как ни вздорно,
где проросли моих колосьев зерна.

Я ваш слуга, а вы мой добрый ангел.
Прошу простить за жалобы и вялость.
Как можно меньше грежу на бумаге,
чтоб не тащить в сей мир свою усталость.
И без меня все выдохлись от злобы
в спасеньи тщетном собственной утробы.

Но повелось уж так от первой ночи —
точить на ближних не мечи, так косы.
Когда несносно — в высь таращить очи,
когда терпимо — зреть не дальше носа.
И только вы, мой ангел, надо мною
мне не даете пылью стать земною.

ТЕАТР РАСПАХНУТЫХ ДУШ

И когда пью вино я с приятелем Саней и чушь
с ним несую о каких-то там бабах с похмелья,
мне тоскливо и скучно, но я принимаю веселье
и участвую в этом театре распахнутых душ.

Но потом отмечаю с досадой, почти свысока,
что умней этих пьянок и жизнью,
катыщихся в лужу.

Мне бы Канта в друзья,
мне Сократу бы вывернуть душу,
но приходится, точно на сцене, играть мужика.

Распыляюсь я с Саней на темы,
в которых не спец,
пью, не морщась,
шучу на предмет ветчины или сала:
все Саньки да Саньки —
Александров в судьбе не хватало.
Таковую ль судьбу вообще мне готовил творец?

Но сквозь слов шелуху
замечаю, как пьяный мой брат
что-то держит большое
под маской веселого кента
и со мной лишь играет по правилам,
спущенным кем-то.
И кому это нужно — расскажет ли позже Сократ?

ДОГАДКА

«Смех и грех» не просто фраза
и не просто слов созвучье,
и, конечно, не случаен
их классический союз.
Ибо только грех рождает
смех, веселье и румянец,
и в грехе сверкают зубки,
как жемчужины у бус.

А вот «праведность и бледность»,
или «бедность и унылость»,
или «честность и угрюмость»,
или «правда и прорех»
тоже будто ходят рядом,
не соседствуя в понятиях,
но звучат не так эффектно,
как родные «смех и грех».

ДА УПАСИ, ГОСПОДЬ

Вот первые стихи, которым я служил,
что с нервным хохотком всегда потом листал:
ужели это я писал, почти как жил
и так нелепо жил, как, впрочем, и писал?

Мне стыдно за сумбур, разброд. А вдруг за честь
сочтет их через век потомок мой издать?
Да упаси, Господь, кому-нибудь прочесть
наивную мою с ошибками тетрадь!

Ее порвать бы, сжечь, что помнил — то забыл,
чем дорожил — давно не восхищает глаз.
Я в рифмах был слабак, но искреннее был,
и к истине своей был ближе, чем сейчас.

Куда теперь несешь, шальная колея?
Что впереди? Кого из памяти стирать?
Ведь истина у всех пожалуй что своя,

моя, должно быть, в том,
чтоб сжечь свою тетрадь.

ОБ ОТРАЖЕНИЯХ В ЛУЖАХ

Мне снился сон, и странен был мой сон:
печальный вид его и серый тон
предупреждали о конце ближайшем,
о том, что мир висит на волоске.
К закату склонен был там день тишайший,
а я к тишайшей склонен был тоске.
Мне ехать было нужно. И в автобус
вошел я, но услышал друга голос.

Я знал, что умер он. Чего же так
был взгляд его лучист, горяч кулак?
Я огляделся: Боже, как их много
давно умерших все, но теперь
воистину воскресших, на дороге
смотревших и входивших через дверь.
Когда же сон ушел в луга и нивы,
я удивился: все, кто снились, живы.

Я вышел и побрел к трамваю. Друг
мне шел навстречу, как ночной мой глюк.
«Привет! Ну как живешь? Бегу по делу».
И вдруг пронзила мысль, что вправду вот
давно он мертв, а это только тело
по улицам в делах еще снует.
Но там во сне воскрес он. Наяву же
лишь воскресают отраженья в луже.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Реальность виртуальная скучна
как всякая реальность. Только смуту
она внесет, забавив на минуту,
и вновь искать какого-то рожна
начнешь, подозревая, что душа
сама не смыслит в этом ни шиша.

Что есть она, реальность: сердца пыл,
иль зримый мир, что трогаешь руками?
Я в кулаке мечту держал веками,
но просыпался и не помнил, был
ли вправду в тех пространствах и мирах,
где личность не реальнее, чем прах.

Не скучно, верно, только молодым.
Едва познаешь мир, уже зеваешь.
И проклиная быт, предполагаешь,
что все вокруг иллюзии и дым.
И постоянства нет. И все течет.
И то реально, что еще влечет.

ПОНИМАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

О как тесна трехкомнатная наша
«хрущевка» не хрустального убранства.
Не заслужили, видимо, мы даже
с тобою чуть просторнее пространства.

Здесь даже мысль и та не в лучшем виде
при потолках в два метра, в стенах узких.
Все в тесноте извечной, да в обиде
на старых дураков и новых русских.

Напрасно уголок искать укромный,
на кухне, в ванной, если свистнет лира.
Но не прилично кажется огромной
без сына наша скромная квартира.

Огромной и нелепой в этих серых
застенках, больше склонных к укоризне.
И понимаешь: дело не в размерах
пространства, а в напищенной в нем жизни.

СКУЧНО

Осень, шорох тополиный,
клин на небе журавлиный,
лист валится, дым клубится,
солнце плавает в пыли.
Журавли в своем полете.
Что так грустно вы поете?
«Что так скучно вы живете?» —
спросят с неба журавли.

А скорей всего не спросят.
Журавлей моих уносит
в край, где косы на кокосы
лемурийский точит люд.
Скука, мука, тленья знаки.
На бескрылье даже раки
не свистят и вянут злаки —
сны да рифмы, труд и блуд.

Клин не вышибить мне клином
тем, небесным, журавлиным.
Хворь да скука, Кали-юга
сонно свищет у виска.
Что ответить на бескрылье
вам, хмельная эскадрилья:
«Это русское унынье,
это русская тоска».

В ширь распахнутая дверца.
Клин вонзается под сердце.
Лист валится, дым клубится,
воздух сине-голубой.
В высь мальчишки пальцы тычут,
где крылатые курлычут —
то ли стонут, то ли кличут
в край кокосов за собой.

МЕЧТА

Порой и я назвать «Рашой»
хочу мой край сырой и сирый.
Мне надоело быть душой —
хочу быть мышцей неделимой!

Хочу стальную под пальто
скрывать я мощь и в крупных дозах
хочу держать в ладонях то,
что держат в розовых лишь грезах.

Я обескровлен от потерь,
я зол и бледен от гордыни.
Я сыт эфиром. И теперь
хочу земной вкусить твердыни.

Познать всю кривду кулаков,
объятий ложь и зуд телесный,
хочу забыть всех дураков,
что в шелухе живут словесной.

Хочу воскликнуть я: «Плачу
за всех от Питера до Рима!»
Я мышцей, мышцей быть хочу —
она по крайней мере зрима.

И всем ветрам больную грудь
хочу подставить за утраты.
Ограблю банк я как-нибудь
и улечу скрываться в Штаты.

ВДОЛЬ БЕРЕГА

Я по волжскому берегу, берегу сонному брел,
обретая все то, что уже я когда-то обрел,
натываясь на камни времен мелового периода,
как бы в знак, что он был, тот период,
что книги не лгут.
Тут ревел океан, а теперь лишь в палатках режут
молодые девицы, познавшие истину Ирода.

Я по дну океана бродил, точно боль бередил,
ворошил свои думы и что-то в мечтах городил.
Был я сам под пятою у времени
с местною Эддою.

И меня, как казалось,
уж ставило время в расчет.
Я до греков знавал,
что все в общем куда-то течет,
лишь не ведал куда,
и сейчас не особенно ведаю.

Только это не важно,
а важно — осмыслен ли мир,
что течет бесконечно
из звезд бессловесных и дыр?
Да и так ли существенно,
если все в мире осмысленно?

Лишь любовь
осветит вереницу бессмысленных дней.
Неужели любовь столько стоит руин и камней,
столько крови и слез,
и того, что в камнях перечислено?

Столько боли, лишений...

забвенья народов и стран...

Ведь эпоху спустя также будет таскать океан
с равнодушьем своим

наши кости песком перемытые.

Наплывала волна на горячие ноги мои,
погашая, как свечи, мои безвозвратные дни,
воскрешая в поволжском тумане эпохи забытые.

Я по берегу брел, словно заново жизнь начинал,
узнавая все то, что когда-то давно уже знал,
обрастая пространствами,

словно могильными плитами.

Пребывая на дне, я осваивал дно, как во сне,
и летели моторки и чайки бесились во мне,
и волна наплывала на берег, звеня белемнитами.

ЧААДАЕВУ

А захочу одиночества, выйду
ночью из дома, отправлюсь на пруд.
Звезды мерцают в нем. Тетку Фемиду
даже узнаю среди звезд этих тут.

Скучно зевну и, душой не оттаяв,
тихо припомню всю горечь утрат.
Все это видел я, брат Чаадаев,
кажется, пару столетий назад.

Хоть проживи еще вечность на свете,
будет все так же у нас на роду —
те же все пяди во лбу, и в Совете
те же все б..ди, и звезды в пруду.

Мысли все те же, и та же в них вялость,
души, что затхлостью заволокло.
Тут ничего никогда не менялось,
и ничего никуда не текло.

В прошлом тоскливо, в грядущем туманно.
Пруд. И в пруду без движенья вода.
Кстати, живем мы действительно странно —
правда, не странней, мой друг, чем всегда.

Словом, печально. В усталые ноздри
затхлость вползает под лунную сень.
Те же в пруду затонувшие звезды —
с бреднем пройти бы, да как-то все лень.

НАСЛЕДСТВО

Когда отправлюсь в лучший мир,
что я оставлю в худшем мире? —
Тоску по горней жизни в лире,
что очищала тут эфир.
Оставлю тягу к доброте
и к чистоте такой далекой,
к любви божественно-глубокой,
что не ценима на Земле.
Еще, должно быть, славу я
оставлю тут до погребенья,
но главное — свои стремленья
к познанию истин бытия.
«Бог с вами, люди, — я скажу, —
примите труд мой бесполезный!
Не знаю, свидимся ль за бездной,
а тут — уж вряд ли. Ухожу...»
Когда же сердцем отдохну,
в долинах звездных, то обратно
я попрошусь, но, вероятно,
уже иную быль вдохну.
Иное племя в оный час
латать земные будет свищи.
Оно возвышенней и чище,
и справедливей будет нас.
И света больше будет в них,
честней и человечней лица.
И будет в том моя крупица
наследства помыслов моих.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

В конце концов и красный слог
не вечен в небесах.
Его засыплет тот песок,
струящийся в часах.

Все устает когда-нибудь,
сбавляет темп, а он
бежит, рождая в мыслях муть
и хороня канон.

Еще вчера не знал тоски,
сегодня — все не вновь:
не приливает кровь в виски
и не зовет любовь.

Брожу в унылом неглиже,
но стоит хоть глазком
взглянуть назад, а там уже
давно все под песком.

Да вправду был ли я, лепя
из строк эфирный дом?
Но лишь сначала сквозь тебя
проходит жизнь. Потом

сквозь мысли, вехи и тома,
сквозь пыль веков, что вне
тебя, и даль уже нема,
и сам ты в стороне.

Еще ты плоть, но не оплот
земных своих планид.
И вот уже нет тебя, а свод
по-прежнему стоит.


И был ли смысл? Нам не дано
узнать в приливе сил.
Блажен, кто помнит для чего
сей мир он посетил.

Блажен, кто видит что-то сквозь
песок из-под песка.
В конце концов и время — гость,
а вечна лишь тоска.

ПРОСНУЛСЯ, ВЗДРОГНУЛ, УЖАСНУЛСЯ

Проснулся, вздрогнул, ужаснулся:
какая тишь вокруг меня!
Как будто снова окупился
я в мир без света и огня.
Ничто не тикает над ухом
и не щебечет за окном,
как будто стены стали пухом,
а люди вечным стали сном.
О Боже, в прежнем настоящем
так было (только все не впрок) —
летел я в космосе свистящем
и был смертельно одинок.
На все пустое мирозданье
я был один в промозглой мгле,
и звездам не было названья,
и не было названья мне.
И я взмолился: «Боже Правый,
хоть иллюзорно как-нибудь,
дай мне познать себя оравой
и ощутить иную суть».
Я подбежал в поту к окошку:
суровый дворник землю скреб
и пес гонял по скверу кошку,
и папу вел в детсадик клоп,
и не трубил никто тревогу,
и всюду радость и комфорт.
Все показалось, слава Богу!
Приснится же такое...Черт!

Об авторе

 Александр Андриухин (г. Москва) — советский и российский поэт, прозаик и журналист.

Выпускник Литературного института им. А. М. Горького.

Член Союза Писателей и Литфонда, член Союза журналистов.

По первому образованию — судовой моторист 1 класса.

Работал на Каспии в рыболовецком флоте, в таежных экспедициях, в нефтеразведке, на военном заводе, на телевидении.

Первые стихи написал в 12 лет для школьного КВН.

Позже с бригадой молодых поэтов и актёрами театральной студии «Артель» ездил по стране и ближнему зарубежью. Выступал в клубах и концертных залах, на стройках и заводах, в деревнях, а также в тюрьмах и колониях.

Как серьёзный поэт заявил о себе в 1989 году, став победителем всероссийского турнира поэтов, проводимым издательством «Молодая Гвардия». Был приглашен на IX всесоюзное совещание молодых писателей.

В Москве известен как журналист газеты «Известия», пишущий в жанре журналистского расследования и спецкор газеты «Культура», по заданию которой работал в горячих точках.

Неоднократный лауреат различных литературных и журналистских премий, в том числе и национальной премии «Искра». Крымское правительство в 2015 году также удостоило его наградой за значительный личный вклад в развитие журналистики Республики Крым.

Автор 12-и книг стихов, 18-и остросюжетных романов, 2-ух томов фантастических рассказов и повестей.

Широко публиковался как в России, так и за рубежом.

В настоящее время проживает в двух городах — в Москве и Севастополе.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ВЕКА В ВЕК	3
ВСЕ ТА ЖЕ ПЫЛЬ	4
ОСОБЕННОСТИ АБСОЛЮТА	5
КАПЕЛЬ	6
СТАРАЯ КРЕПОСТЬ	7
В СОЗВЕЗДИИ КЕНАВРА	8
ЛЕРМОНТОВУ	10
БЕЛЫЙ ВОРОН	11
ОПЯТЬ С НУЛЯ	13
КОЛУМБ	14
В СКАФАНДРЕ	15
ЗА ШТУРВАЛОМ	17
МАТРОС	19
БРОДЯГА	20
БЕЛАЯ НОЧЬ	22
ПРОЩАНИЕ С ЮГАНЬЮ	23
СКАЛОЛАЗ	24
РАЛЛИ	25
ЛЮБИ ВРАГОВ	26
ЗА ГЕРКУЛЕСОВЫМИ СТОЛПАМИ	27
О СМЫСЛЕ	29
ВО ТЬМЕ ЭПОХ	30
ПОКИНУТЫЙ ГОРОД	31
КОГДА ВЕСЬ МИР ДЫРА	32
ИЗ БИБЛИИ	34
И ЛОЖЬ-ТО НЕ ЛОЖЬ	35
ВЛЮБЛЕННЫЕ	36
НОЧНЫЕ ОГНИ	37
О ДЕВЕ И РОЗЕ	38
УНОСИТ РЕКА	39
ЛЮБОВЬ	40

Я ЖДАЛ ТЕБЯ	41
ПТИЧКА В СИЛКАХ	43
ПОЗОВИ МЕНЯ, ДАЛЬ	45
ПО СЛЕДАМ ПЕСНИ ЦАРЯ СОЛОМОНА	47
МАРТ	49
ОЖИДАНИЕ	51
ЖЕНЩИНА	52
СНЕГОПАД	53
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ	55
АНГЕЛ	57
НА СТУПЕНЯХ	58
ПОПУТЧИЦА	60
ЗА ЗДРАВЬЕ ОЛИ	63
СЛЕЗЫ СКВОЗЬ ТОМАСА МАНА	65
В ОТПУСКЕ	67
СОН ЦАРЯ ЛЕОНИДА	69
НА РАСКОПКАХ	70
В ЛЕТНЕМ ДОМИКЕ	71
ТРИПТИХ	73
ПОСЛЕ ССОРЫ	76
НА ПРИЧАЛЕ	77
ОДНОКУРСНИЦЕ	79
ИЗМОРОЗЬ	80
ДА ПОЛНО РОДНАЯ	81
ЛИЛИИ	82
ГРОЗА	83
В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ	85
НО КТО ЛЮБИТЬ МНЕ СМОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ	86
РЕКА	88
ГИТАРА	89
ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА	90
А СЕГОДНЯ ТАК ТИХО	91
В ПРОЦЕДУРНОЙ	92

НЕ ЛЮБЛЮ МОСКВУ	93
В МАВЗОЛЕЕ	94
НОЧЬ В ВАРШАВЕ	95
ГРАНИЦА	97
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА	99
Я СПРОСИЛ ВЧЕРА У ГУМАНОИДА	100
РАЗГОВОР С ДУШОЙ	101
Я К ИСТИНЕ ТОПАЛ	102
НА ОСТАНОВКЕ	103
ПОЧТИ ПО КАВАФИСУ	104
ЧЕЛЮСКИНЦЫ	106
ВЗГЛЯД С МОСТА	108
ГРАЧАТА	109
РОССИЯ	110
ПО ПОВОДУ ГРЯДУЩЕГО	111
ЭТОТ МИР	112
СТАЯ	113
ВСЕЛЕНСКАЯ ЯЗВА	114
ПОД ФОНАРЕМ	115
О СОБСТВЕННОЙ НИЧТОЖНОСТИ	117
ЖИЗНЬ — ДВИЖЕНИЕ	118
СОВЕТ	120
ВСЕ В ПРОШЛОМ ГЛУПО	121
ПЕРЕД СНОМ	123
ДЕМОКРИТ	124
НОЧЬ С СЕНЕКОЙ	126
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЮЛЯ	127
ЖИТЬ В СТРАХЕ	128
ДАВАЙ ЗАПУСТИМ ЗМЕЯ	130
НЕ ПЛАЧЬ, МОЯ МАМА	131
ГАРЬ ДА ПЕПЕЛ	132
СПАСИБО	134
НА КРАЮ МИРОЗДАНЬЯ	135

УМЕР ПОЭТ 136
СЕРДЦЕ 137
МОЙ АНГЕЛ 139
ТЕАТР РАСПАХНУТЫХ ДУШ 140
ДОГАДКА 141
ДА УПАСИ, ГОСПОДЬ 142
ОБ ОТРАЖЕНЬЯХ В ЛУЖАХ 143
РАЗОЧАРОВАНИЕ 144
ПОНИМАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 145
СКУЧНО 146
МЕЧТА 148
ВДОЛЬ БЕРЕГА 149
ЧААДАЕВУ 151
НАСЛЕДСТВО 152
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 153
ПРОСНУЛСЯ, ВЗДРОГНУЛ, УЖАСНУЛСЯ 155

